

АНТОН ЧЕХОВ

СВЯТАЯ

ПРОСТОТА

(СБОРНИК)

Православные чудеса (АСТ)

АНТОН ЧЕХОВ

Святая простота (сборник)

«Public Domain»

УДК 821.161.1

Чехов А. П.

Святая простота (сборник) / А. П. Чехов — «Public Domain»,
— (Православные чудеса (АСТ))

ISBN 978-5-17-107941-3

Рассказы, вошедшие в этот сборник, написаны Антоном Павловичем в разные годы, но посвящены одному – красоте и неизбывности Божьего мира, чистоте простых верующих сердец. Именно поэтому в заглавие вынесен рассказ о том, кто смог познать высший смысл, заключенный в правде и красоте, которые есть самое главное в человеческой жизни.

УДК 821.161.1

ISBN 978-5-17-107941-3

© Чехов А. П.
© Public Domain

Содержание

Святая простота	6
Мертвое тело	9
Ночь на кладбище	12
Кошмар	14
Святою ночью	22
Письмо	28
Казак	34
На мельнице	37
На пути	41
Панихида	50
Встреча	53
На страстной неделе	61
Перекасти-поле	64
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Антон Чехов
Святая простота (сборник)

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Святая простота

Котцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П., неожиданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет двенадцать – пятнадцать, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся.

– А у тебя здесь хорошо, мило! – восторгался он, ерзая на стуле. – Уютно, тепло, и пахнет чем-то таким патриархальным. Ей-богу, хорошо!

Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на «ученый» лад.

– Такие-то, брат, факты... – говорил он. – Вышло именно так, как я желал в сердце своем: и ты и я – оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в Киевской академии кончил, да... По одной стезе, стало быть... Понимаем друг друга... Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь?

– Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем.

– Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический... гм... не физический... Ты университет, головой работаешь. Долго гостить будешь?

– Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер *deus ex machina*¹. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет.

– Тэк-с... Стало быть, ты по судебной части? Юристу?

– Да, я присяжный поверенный.

– Так... Помогай Бог. Чин у тебя какой?

– Ей-богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованье, – подумал отец Савва, – но по-ихнему это вопрос нескромный... Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.

– Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом году приехал, – сказал сын. – В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города!

– Именно смешные... хоть плюнь! – согласился отец Савва. – Что поделаешь! Далеко от умственных центров... предрассудки. Не проникла еще цивилизация...

– Не в том дело... Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в ваш губернский город в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят: спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей! Скажите, говорю, чтоб играли, я плачу триста... Заплатил от скуки триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало... Ха-ха...

Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак... «Вот врет-то!» – подумал он.

– Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей? – спросил он робко.

– Как где взял? Из своего кармана, конечно...

¹ Бог из машины.

– Гм... Сколько же ты, извини за нескромный вопрос, жалованья получаешь?

– Как когда... В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется...

Годы разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! – подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына. – Брехлива молодость! Хо-хо-хо... Хватил – тридцать тысяч!»

– Невероятно, Сашенька! – сказал он. – Извини, но... хо-хо-хо... тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно...

– Не веришь?

– Не то что не верю, а так... как бы этак выразиться... ты уж больно тово... Хо-хо-хо...

Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?

– Проживаю, батя... В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю... покучиваю иногда.

– Это так... А ты бы копил!

– Нельзя... Не такие у меня нервы, чтоб копить... (адвокат вздохнул). Ничего с собой не поделаю. В прошлом году купил я себе на Полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости! И что ж ты думаешь? Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки – фюить! Овое в карты проиграл, овое пропил.

– Хо-хо-хо! Вот врет-то! – взвизгнул старик. – Занятно врет!

– Не вру я, батя.

– Да нешто можно дом проиграть или прокутить?

– Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру, но чувствую, что не довезти мне их до Москвы. Такая у меня планида.

– Не планида, а планета, – поправил отец Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху-кухарку. – Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?

– За талант...

– Гм... Может, тысячи три и получаешь, а чтоб тридцать тысяч, или, скажем, дома покупать, извини... сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай, весело? Знакомых у тебя много?

– Очень много. Вся Москва меня знает.

– Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь.

Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорокатысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.

– Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение. Мне занятно тебя слушать. Говори, говори.

– Но, однако, я заболтался, – кончил адвокат, вставая из-за стола. – Завтра разбирательство, а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.

– Каков, а? Видала? – за шептал он кухарке. – То-то вот и есть... Университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню! Хо-хо-хо. Хороший сын! Добрый сын! И ты заметила? Он со мной, как с ровней... своего брата ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальне и заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.

– Я на минуточку... поглядеть, удобно ли, – забормотал старик, входя к сыну. – Удобно? Мягко? Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.

– Так-с... – начал он после некоторого молчания. – Я все про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика, с другой же стороны, как отец и... и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь, знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кгм... Кашель у меня. Кгм... Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?

– Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

– Восемь? Вот врет-то! – всплеснул руками отец Савва. – Хо-хо-хо! Да за что тут восемь рублей платить? Хо-хо-хо! Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

– Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь... Айда!

Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав «правила» и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить и дымить.

– Спать пора... раздевайся и туши свечку... – сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари. – Уже двенадцать часов... Ты это вторую бутылку? Ого!

– Без вина нельзя, батя... Не возбудишь себя, дела не сделаешь.

Савва сел на кровать, помолчал и начал:

– Такая, брат, история... М-да... Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой... Видишь ли... За все время сорокалетнего служения моего скопил я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но...

Отец Савва торжественно высморкался и продолжал:

– Но не транжирь их и храни... И, прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей двадцать пошли. Они сироты.

– Ты им пошли все полторы тысячи... Они мне не нужны, батя...

– Врешь?

– Seriously... Все равно растрянжирю.

– Гм... Ведь я их копил! – обиделся Савва. – Каждую копейку для тебя складывал...

– Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви, но так они мне не нужны... Полторы тысячи – фи!

– Ну, как знаешь... Знал бы я, не хранил, не лелеял... Спи!

Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен... Небрежное, безразличное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло... Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смелости беспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын, «университант»... Спать он не мог.

Мертвое тело

Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман и матовой пеленой застилает всё, доступное для глаза. Освещённый луною, этот туман даёт впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В воздухе сыро и холодно. Утро ещё далеко. На шаг от просёлочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонёк. Тут, под молодым дубом, лежит мёртвое тело, покрытое с головы до ног новой белой холстиной. На груди большой деревянный образок. Возле трупа, почти у самой дороги, сидит «очередь» – два мужика, исполняющих одну из самых тяжёлых и неприглядных крестьянских повинностей. Один – молодой высокий парень с едва заметными усами и с густыми чёрными бровями, в рваном полушубке и лаптях, сидит на мокрой траве, протянув вперёд ноги, и старается скоротать время работой. Он нагнул свою длинную шею и, громко сопя, делает из большой угловатой деревяшки ложку. Другой – маленький мужичонко со старческим лицом, тощий, рябой, с жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки и, не двигаясь, глядит безучастно на огонь. Между обоими лениво догорает небольшой костёр и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревяшка и потрескивают в костре сырые брёвнышки.

– А ты, Сёма, не спи... – говорит молодой.

– Я... не сплю... – заикается козлиная бородка.

– То-то... Одному сидеть жутко, страх берёт. Рассказал бы что-нибудь, Сёма!

– Не... не умею...

– Чудной ты человек, Сёмушка! Другие люди и посмеются, и небылицу какую расскажут, и песню споют, а ты – бог тебя знает, какой. Сидишь, как пугало огородное, и глаза на огонь тарачишь. Слова путём сказать не умеешь... Говоришь и будто боишься. Чай, уж годов пятьдесят есть, а рассудка меньше, чем в дите... И тебе не жалко, что ты дурачок?

– Жалко... – угрюмо отвечает козлиная бородка.

– А нам нешто не жалко глядеть на твою глупость? Мужик ты добрый, тверезый, одно только горе – ума в голове нету. А ты бы, ежели господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался... Ты понатужься, Сёма... Где что хорошее скажут, ты и вникай, бери себе в толк, да всё думай, думай... Ежели какое слово тебе непонятно, ты понатужься и рассуди в голове, в каких смыслах это самое слово. Понял? Понатужься! А ежели сам до ума доходить не будешь, то так и помрёшь дурачком, последним человеком.

Вдруг в лесу раздаётся протяжный, стонущий звук. Что-то, как будто сорвавшись с самой верхушки дерева, шелестит листвой и падает на землю. Всему этому глухо вторит эхо. Молодой вздрагивает и вопросительно глядит на своего товарища.

– Это сова пташек забирает, – говорит угрюмо Сёма.

– А что, Сёма, ведь уж время птицам лететь в тёплые края!

– Знамо, время.

– Холодные нынче зори стали. Х-холодно! Журавль зыбкая тварь, нежная. Для него такой холод – смерть. Вот я не журавль, а замёрз... Подложи-ка дровец!

Сёма поднимается и исчезает в тёмной чаще. Пока он возится за кустами и ломает сухие сучья, его товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каждого звука. Сёма приносит охапку хворосту и кладет её на костёр. Огонь нерешительно облизывает язычками чёрные сучья, потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый цвет лица, дорогу, белую холстину с её рельефами от рук и ног мертвеца, образок... «Очередь» молчит. Молодой ещё ниже нагибает шею и ещё нервнее принимается за работу. Козлиная бородка сидит по-прежнему неподвижно и не сводит глаз с огня...

– «Ненавидящие Сиона... посрамится от господа»...² – слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула, потом слышатся тихие шаги и на дороге в багровых лучах костра вырастает тёмная человеческая фигура в короткой монашеской ряске, широкополой шляпе и с котомкой за плечами.

– Господи, твоя воля! Мать честная! – говорит эта фигура сиплым дискантом. – Увидел огонь во тьме кромешной и разыгрался духом... Сначала думал – ночное, потом же и думаю: какое же это ночное, ежели коней не видать? Не тати ли сие, думаю, не разбойники ли, богатого Лазаря поджидающие? Не цыганская ли это нация, жертвы идолам приносящая? И разыгрался дух мой... Иди, говорю себе, раб Феодосий, и прими венец мученический! И понесло меня на огонь, как мотыля легкокрылого. Теперь стою перед вами и по наружным физиогномиям вашим сужу о душах ваших: не тати вы и не язычники. Мир вам!

– Здорово.

– Православные, не знаете ли вы, как тут пройти до Макухинских кирпичных заводов?

– Ближе. Вот это, стало быть, пойдёте прямо по дороге; версты две пройдёте, там будет Ананово, наша деревня. От деревни, батюшка, возьмёшь вправо, берегом, и дойдёшь до заводов. От Ананова версты три будет.

– Дай бог здоровья. А вы чего тут сидите?

– Понятыми сидим. Вишь, мёртвое тело...

– Что? Какое тело? Мать честная!

Странник видит белую холстину с образком и вздрагивает так сильно, что его ноги делают лёгкий прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь съживается и, раскрыв рот, выпуча глаза, стоит, как вкопанный... Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим, потом начинает бормотать:

– Господи! Мать честная!! Шёл себе, никого не трогал, и вдруг этакое наказание...

– Вы из каких будете? – спрашивает парень. – Из духовенства?

– Не... нет... Я по монастырям хожу... Знаешь Ми... Михайлу Поликарпыча, заводского управляющего? Так вот я ихний племянник... Господи, твоя воля! Зачем же вы тут?

– Сторожим... Велят.

– Так, так... – бормочет ряска, поводя рукой по глазам. – А откуда покойник-то?

– Прохожий.

– Жизнь наша! Одначе, братцы, я тово... пойду... Оторопь берёт. Боюсь мертвецов пуще всего, родимые мои... Ведь вот, скажи на милость! Покуда этот человек жив был, не замечали его, теперь же, когда он мёртв и тлену предаётся, мы трепещем перед ним, как перед каким-нибудь славным полководцем или преосвященным владыкою... Жизнь наша! Что ж, его убили, что ли?

– Христос его знает! Может, убили, а может, я сам помер.

– Так, так... Кто знает, братцы, может, душа его теперь сладости райские вкушает!

– Душа его ещё здесь около тела ходит... – говорит парень. – Она три дня от тела не идёт.

– М-да... Холода какие нынче! Зуб на зуб не попадёт... Так, стало быть, идти всё прямо и прямо...

– Покуда в деревню не упрёшься, а там возьмёшь вправо берегом.

– Берегом... Так... Что же это я стою? Идти надо... Прощайте, братцы!

Ряска делает шагов пять по дороге и останавливается.

– Забыл копеечку на погребение положить, – говорит она. – Православные, можно монетку положить?

– Тебе это лучше знать, ты по монастырям ходишь. Ежели настоящей смертью он помер, то пойдёт за душу, ежели самоубивец, то грех.

² Пятый стих 128 псалма.

– Верно... Может, и в самом деле самоубийца! Так уж лучше я свою монетку при себе оставлю. Ох, грехи, грехи! Дай мне тыщу рублей, и то б не согласился тут сидеть... Прощайте, братцы!

Ряска медленно отходит и опять останавливается.

– Ума не приложу, как мне быть... – бормочет она. – Тут около огня остаться, расвета подождать... страшно. Идти тоже страшно. Всю дорогу в потёмках покойник будет мерещиться... Вот наказал господь! Пятьсот вёрст пешком прошёл, и ничего, а к дому стал подходить, и горе... Не могу идти!

– Это правда, что страшно...

– Не боюсь ни волков, ни татей, ни тьмы, а покойников боюсь. Боюсь, да и шабаш! Братцы православные, молю вас коленопреклоненно, проводите меня до деревни!

– Нам не велено от тела отходить.

– Никто не увидит, братцы! Ей же ей, не увидит! Господь вам сторицею воздаст! Борода, проводи, сделай милость! Борода! Что ты всё молчишь?

– Он у нас дурачок... – говорит парень.

– Проводи, друг! Пятачок дам!

– За пятак бы можно, – говорит парень, почёсывая затылок, – да не велено... Ежели вот Сёма, дурачок-то, один посидит, то провожу. Сёма, посидишь тут один!

– Посижу... – соглашается дурачок.

– Ну и ладно. Пойдём!

Парень поднимается и идёт с ряской. Через минуту их шаги и говор смолкают. Сёма закрывает глаза и тихо дремлет. Костёр начинает тухнуть, и на мёртвое тело ложится большая чёрная тень...

1885

Ночь на кладбище

Святочный рассказ

– Расскажите, Иван Иванович, что-нибудь страшное!

Иван Иванович покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал:

– Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания: был я, признаться, выпивши... Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и налился, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже... По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег...

Итак, напился я с горя... Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая... Сам чёрт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь... Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы... Бедная природа переживала фридрих-гераус... Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение...

«Жизнь – канитель... – философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. – Пустое, бесцветное прозябание... мираж... Дни идут за днями, годы за годами, а ты всё такая же скотина, как и был... Пройдут еще годы, и ты останешься всё тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим... В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!..»

Шел я с Мещанской на Пресню – дистанция для выпившего почтенная... Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу: тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву...

Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой; сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью... Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился... Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх... Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути.

«Извозчик!» – закричал я.

Ответа не последовало... Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят, зря, в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал... Навстречу мне дул резкий, холодный ветер, в глаза хлестал крупный дождь... То я бежал по тротуарам, то по дороге... Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.

Иван Иванович выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал:

– Не помню, как долго я бежал... Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет... Видеть его я не мог, а осязавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного... Я сел на него, чтобы отдохнуть... Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что, когда, немного спустя, я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите...

Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил... Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет... И представьте мой ужас! Это был деревянный крест...

«Боже мой, я попал на кладбище! – подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. – Вместо того, чтобы идти в Пресню, я побрел в Ваганьково!»

Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов... Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкиных сказок, но, очутившись среди безмолвных могил темною ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод...

«Не может быть! – утешал я себя. – Это оптический обман, галлюцинация... Всё это кажется мне от того, что в моей голове сидят Депре, Бауэр и Арабажи... Трус!»

И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги... Кто-то медленно шел, но... то были не человеческие шаги... для человека они были слишком тихи и мелки...

«Мертвец», – подумал я.

Наконец этот таинственный «кто-то» подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул... Засим я услышал вой... Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу... Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой! Я оступел и окаменел от ужаса... Депре, Бауэр и Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа... Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое, костлявое лицо, полусгнивший саван...

«Боже, хоть бы скорее утро», – молился я.

Но, пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги... Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня... Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная, костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо... Я потерял сознание.

Иван Иваныч выпил рюмку водки и крикнул.

– Ну? – спросили его барышни.

– Очнулся я в маленькой квадратной комнате... В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет... «Ну, – подумал я, – это, значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили»... Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса.

«Где ты его взял?» – допрашивал чей-то бас.

«Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие, – отвечал другой бас, – где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет... Должно, выпивши...»

Утром, когда я проснулся, меня выпустили...

Кошмар

Непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин, молодой человек, лет тридцати, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом верхового в Синьково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым. Часов через пять отец Яков явился.

– Очень рад познакомиться! – встретил его в передней Кунин. – Уж год, как живу и служу здесь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просим! Но, однако... какой вы молодой! – удивился Кунин. – Сколько вам лет?

– Двадцать восемь-с... – проговорил отец Яков, слабо пожимая протянутую руку и, неизвестно отчего, краснея.

Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!» – подумал он.

Действительно, в лице отца Якова было очень много «бабьего»: вздернутый нос, ярко-красные щеки и большие серо-голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями. Длинные рыжие волосы, сухие и гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а бородка принадлежала к тому сорту никуда не годных бород, который у семинаристов почему-то называется «скоктанием»³: реденькая, сильно просвечивающая; погладить и почесать ее гребнем нельзя, можно разве только пощипать... Вся эта скудная растительность сидела неравномерно, кустиками, словно отец Яков, вздумав загримироваться священником и начав приклеивать бороду, был прерван на половине дела. На нем была ряска, цвета жидкого цикорного кофе, с большими латками на обоих локтях.

«Странный субъект... – подумал Кунин, глядя на его полы, обрызганные грязью. – Приходит в дом первый раз и не может поприличней одеться».

– Садитесь, батюшка, – начал он более развязно, чем приветливо, придвигая к столу кресло. – Садитесь же, прошу вас!

Отец Яков кашлянул в кулак, неловко опустил на край кресла и положил ладони на колени. Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство.

– Я, батюшка, пригласил вас по делу... – начал Кунин, откидываясь на спинку кресла. – На мою долю выпала приятная обязанность помочь вам в одном вашем полезном предприятии... Дело в том, что, вернувшись из Петербурга, я нашел у себя на столе письмо от председателя. Егор Дмитриевич предлагает мне взять под свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у вас в Синькове. Я, батюшка, очень рад, всей душой... Даже больше: я с восторгом принимаю это предложение!

Кунин поднялся и заходил по кабинету.

– Конечно, и Егору Дмитриевичу, и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непремленного члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете, но что в моих силах, то я все сделаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

– Когда будут деньги... – ответил отец Яков.

– Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

³ Скоктание – щекотание, осязание, возбуждающее нечистую похоть.

– Почти никакими-с... Мужики постановили на сходе платить ежегодно по тридцати копеек с каждой мужской души, но ведь это только обещание! А на первое обзаведение нужно, по крайней мере, рублей двести...

– М-да... К сожалению, у меня теперь нет этой суммы... – вздохнул Кунин. – В поездке я весь истратился и... задолжал даже. Давайте общими силами придумаем что-нибудь.

Кунин стал вслух придумывать. Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова, ища на нем одобрения или согласия. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кроме застенчивой робости и беспокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудреных вещах, которых отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боялся, чтобы его не уличили в непонимании.

«Малый, как видно, не из очень умных... – думал Кунин. – Не в меру робок и глуповат».

Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чаю и сахарницу с крендельками. Он взял свой стакан и тотчас же принялся пить.

– Не написать ли нам преосвященному? – продолжал соображать вслух Кунин. – Ведь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшие духовные власти подняли вопрос о церковно-приходских школах. Они должны, по-настоящему, и средства указать. Мне помнится, я читал, что на этот счет даже была ассигнована сумма какая-то. Вам ничего не известно?

Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос. Он поднял на Кунина свои серо-голубые глаза, подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотнул головой. По некрасивому лицу его от уха до уха разливалось выражение удовольствия и самого обыденного, прозаического аппетита. Он пил и смаковал каждый глоток. Выпив все до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан, оглядел его дно и опять поставил. Выражение удовольствия сползло с лица... Далее Кунин видел, как его гость взял из сахарницы один кренделек, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман.

«Ну, уж это совсем не по-иерейски! – подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. – Что это, поповская жадность или ребячество?»

Дав гостю выпить еще один стакан чаю и проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова.

«Какой странный, дикий человек! – думал он. – Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница...»

Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: „Благослови, владыко!“ Хорош владыко! Владыко, не имеющий ни капли достоинства, невоспитанный, прячущий сухари в карманы, как школьник... Фи! Господи, в каком месте были глаза у архиерея, когда он посвящал этого человека? За кого они народ считают, если дают ему таких учителей? Тут нужны люди, которые...»

И Кунин задумался о том, кого должны изображать из себя русские священники...

«Будь, например, я попом... Образованный и любящий свое дело поп много может сделать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповедь? Если поп искренен и вдохновлен любовью к своему делу, то какие чудные, зажигательные проповеди он может говорить!»

Кунин закрыл глаза и стал мысленно слагать проповедь. Немного погодя он сидел за столом и быстро записывал.

«Дам тому рыжему, пусть прочтет в церкви...» – думал он.

В ближайшее воскресенье, утром, Кунин ехал в Синьково покончить с вопросом о школе и кстати познакомиться с церковью, прихожанином которой он считался. Несмотря на распутицу, утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где белевшие пласты залежавшегося снега. Снег на прощанье с землей переливал такими алмазами, что

больно было глядеть, а около него спешила зеленеть молодая озимь. Грачи солидно носились над землей. Летит грач, опустится к земле и, прежде чем стать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет...

Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в дугу согнувшийся дьячок глухим, неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без дьякона, ходил по церкви и кадил. Если б не смирение, каким проникся Кунин, входя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом иерее была помятая и длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле.

Церковь была не полна. Кунина, при взгляде на прихожан, поразило на первых порах одно странное обстоятельство: он увидел только стариков и детей... Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и глядевшись попристальней в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения.

Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного местечка, которого бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки.

«Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться... – думал Кунин. – Как в Риме у св. Петра поражает величие, так здесь трогают эти смирение и простота».

Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком баске; кланялся он неумело, ходил быстро, Царские врата открывал и закрывал порывисто... Старый дьячок, очевидно больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дьячок поет свое, или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой, болезненный голос, с одышкой, дрожащий и шепелявый... В довершение неблагодария дьячку подтягивал очень маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перилы клироса. Мальчик пел высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь.

– Жалуются на падение в народе религиозного чувства... – вздохнул он. – Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов!

Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало вон на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, только солома на крыше лежала ровнее да на окнах белели занавесочки. Отец Яков ввел Кунина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамочках да часов с прицепленными к гире ножницами, обстановка поражала своею скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям: в одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом – табурет, в третьем – стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом – стул с прямой спинкой, но с вдавленным сиденьем, а в пятом – расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет

и сильно пахло краской. Кунин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет.

– Вы это первый раз в нашем храме? – спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик.

– Да, в первый. Вот что, батюшка... Прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то у меня вся душа высохла.

Отец Яков заморгал глазами, крикнул и пошел за перегородку. Послышалось шушуканье...

«Должно быть, с попадией... – подумал Кунин. – Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадия...»

Немного погодя отец Яков вышел из-за перегородки красный, потный и, силясь улыбнуться, сел против Кунина на край дивана.

– Сейчас поставят самовар, – сказал он, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! – ужаснулся про себя Кунин. – Изволь теперь ждать!»

– Я вам привез, – сказал он, – черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая... Может быть, вы найдете что-нибудь добавить...

– Хорошо-с.

Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высморкался.

– Погода чудесная-с... – сказал он.

– Да. Между прочим, интересную я вещь прочел вчера... Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству. Это характерно.

Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения.

– Это ничего, – говорил он, – лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые, по своему развитию и нравственным качествам, не годятся в военные писаря, а не то что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник.

Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, по видимому, не слушал гостя.

– Яша, поди-ка сюда! – слышался женский голос из-за перегородки.

Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье. Кунина защемила тоска по чаю.

«Нет, не дождусь я тут чаю! – подумал он, глядя на часы. – Да кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать, а только сидит да глазами хлопает».

Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним.

«Даром только утро пропало! – злился он дорогой. – Бревно! Пень! Школой он так же интересуется, как я прошлым годом снегом. Нет, не сварю я с ним каши! Ничего у нас с ним не выйдет! Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уж о школе!»

Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая, карикатурная фигура, в длинной, помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская, застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбию...

Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословения, он, между прочим, искренно, по-сыновьи, изложил свое мнение о синьковском священнике. «Он молод, – написал он, – недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав это письмо, Кунин легко вздохнул и лег спать с сознанием, что он сделал доброе дело.

В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков.

«Как, однако, ему мои крендельки понравились!» – подумал Кунин.

В воскресенье, перед вечером, пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он был красен и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера.

– Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий принес... – начал отец Яков.

– Благодарю.

Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же он молчит? – злился Кунин. – Расселся тут! Мне ведь некогда возиться с ним!»

Чтобы хоть чем-нибудь сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происходившую в нем, священник начал принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица, не вязавшаяся с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

– Извините, батюшка, мне нужно ехать... – сказал он.

Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость.

– Прошу, батюшка, в другой раз... – сказал он, – а на прощанье у меня к вам будет просьба... Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди... Отдаю на ваше рассмотрение... Коли сгодятся, прочтите.

– Хорошо-с... – сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшие на столе проповеди Кунина. – Я возьму-с...

Постояв немного, помявшись и все еще запахивая ряску, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову.

– Павел Михайлович, – сказал он, видимо стараясь говорить громко и явственно.

– Что прикажете?

– Я слышал, что вы изволили, тово... рассчитать своего писаря и... и ищите теперь нового...

– Да... А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?

– Я, видите ли... я... Не можете ли вы отдать эту должность... мне?

– Да разве вы бросаете священство? – изумился Кунин.

– Нет, нет, – быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнея и дрожа всем телом. – Боже меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом... чтоб дивиденды свои увеличить... Не нужно, не беспокойтесь!

– Гм... дивиденды... Но ведь я плачу писарю только двадцать рублей в месяц!

– Господи, да я и десять взял бы! – прошептал отец Яков, оглядываясь. – И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги деваает? Я и сам это чувствую, что жадный... и казнию себя, осуждаю... людям в глаза глядеть совестно... Вам, Павел Михайлович, я по совести... привожу Истинного Бога в свидетели...

Отец Яков перевел дух и продолжал:

– Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но... все забыл, не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все... удивляются, куда я эти деньги деваю... Но я вам все по совести объясню... Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои...

– Ах, верю, верю! Ну, к чему все это? – замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз.

– Потом-с, я еще в консисторию за место свое не все еще выплатил. За место с меня двести рублей положили, чтоб я по десяти в месяц выплачивал... Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по три рубля в месяц!

– Какому отцу Авраамию?

– Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за... слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет! Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Мне ведь грех будет, ежели что! Мне грех! Он... всем задолжал, а ведь мне грех, что я за него не плачу.

Отец Яков рванулся с места и, безумно глядя на пол, зашагал из угла в угол.

– Боже мой! Боже мой! – забормотал он, то поднимая руки, то опуская. – Спаси нас, Господи, и помилуй! И зачем было такой сан на себя принимать, ежели ты малOVER и сил у тебя нет? Нет конца моему отчаянию! Спаси, Царица Небесная.

– Успокойтесь, батюшка! – сказал Кунин.

– Замучил голод, Павел Михайлович! – продолжал отец Яков. – Извините великодушно, но нет уже сил моих... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но... не могу! Совестно мне! Как я стану у мужиков просить? Вы служите тут и сами видите... Какая рука подыметься просить у нищего? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! Совестно!

Отец Яков махнул рукой и нервно зачесал обеими руками голову.

– Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели! Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! Ни соринки его не было, а ведь открыться перед вами гордость помешала! Стыжусь своей одежды, вот этих латок... риз своих стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать с самим собой.

– Ну, положим, я снесу и голод, и срам, но ведь у меня, Господи, еще попадья есть! Ведь я ее из хорошего дома взял! Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой булке, и к простыням... Она у родителей на фортепьянах играла... Молодая, еще и двадцати лет нет... Хочется небось и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, Боже мой! Только и утешения у нее, что принесу из гостей яблочек или какой кренделечек...

Отец Яков опять обеими руками зачесал голову.

– И выходит у нас не любовь, а жалость... Не могу видеть ее без сострадания! И что оно такое, Господи, делается на свете. Такое делается, что если в газеты написать, то не поверят люди... И когда всему этому конец будет!

– Полноте, батюшка! – почти крикнул Кунин, пугаясь его тона. – Зачем так мрачно смотреть на жизнь?

– Извините великодушно, Павел Михайлович... – забормотал отец Яков, как пьяный. – Извините, все это... пустое, и вы не обращайте внимания... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Отец Яков оглянулся и зашептал:

– Как-то рано утром иду я из Синькова в Лучково; гляжу, а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает... Подхожу ближе и глазам своим не верю... Ужас! Сидит жена доктора, Ивана Сергеича, и белье полощет... Докторша, в институте кончила! Значит, чтоб люди не видели, норовила пораньше встать и за версту от деревни уйти... Неодолимая гордость! Как увидала, что я около нее и бедность ее заметил, покраснела вся... Я оторопел, испугался, подбежал к ней, хочу помочь ей, а она белье от меня прячет, боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел...

– Все это как-то даже невероятно... – сказал Кунин, садясь и почти с ужасом глядя на бледное лицо отца Якова.

– Именно, невероятно! Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтоб докторши на реке белье полоскали! Ни в каких странах этого нет! Мне бы, как пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сделать? Что? Сам же еще норовлю у ее мужа даром лечиться! Верно вы изволили определить, что все это невероятно! Глазам не верится! Во время обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраамия и попадю, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели, то, верите ли, забудешься и стоишь, как дурак, в бесчувствии, пока пономарь не окликнет... Ужас!

Отец Яков опять заходил.

– Господи Иисусе! – замахал он руками. – Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вот про школу мне говорите, а я, как истукан, ничего не понимаю и только об еде думаю... Даже перед престолом... Впрочем... что же это я? – спохватился отец Яков. – Вам уезжать нужно. Простите-с, я ведь это так... извините...

Кунин молча пожал руку отца Якова, проводил его до передней и, вернувшись в свой кабинет, остановился перед окном. Он видел, как отец Яков вышел из дому, нахлобучил на голову свою широкополую ржавую шляпу и тихо, понуриив голову, точно стыдясь своей откровенности, пошел по дороге.

«А его лошади не видно», – подумал Кунин.

Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, Кунин боялся: до Синькова было семь-восемь верст, а грязь на дороге стояла невылазная. Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика.

Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, придушенный голос... Он взглянул на стол... К счастью, отец Яков забыл второпях взять с собой его проповеди... Кунин подскочил к ним, изорвал их в клочки и с отвращением швырнул под стол.

– И я не знал! – простонал он, падая на софу. – Я, который уже более года служу здесь непрременным членом, почетным мировым судьей, членом училищного совета! Слепая кукла, фат! Скорей к ним на помощь! Скорей!

Он мучительно ворочался, стискивал виски и напрягал свой ум.

– Получу двадцатого числа жалованья двести рублей... Под благовидным предлогом суну и ему и докторше... Его позову молебен служить, а для доктора фиктивно заболею... Таким образом, не оскорблю их гордости. И Авраамию помогу...

Он рассчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе сознаться, что этих двухсот рублей едва хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мужику, который привозит мясо... Поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилетним молокососом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику Кузьме по десяти рублей в день, подносил из тщеславия актрисам подарки. Ах, как быгодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки!

«Отец Авраамий проедает в месяц только три рубля, – думал Кунин. – За рубль попадья может себе сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!»

Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею, и его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой...

Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и не рассуждающих людей.

1886

СВЯТОЮ НОЧЬЮ

Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро.

Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потёмках на суровые утёсы.

Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звёздами, которые всплошную усыпали всё небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звёзд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновлённые, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в тёмной глубине и дрожали вместе с лёгкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело врассыпную несколько ярко-красных огней...

В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой суковатой палкой.

– Как, однако, долго нет парома! – сказал я.

– А пора ему быть, – ответил мне силуэт.

– Ты тоже дожидаясь парома?

– Нет, я так... – зевнул мужик, – люминации дожидаясь. Поехал бы, да, признаться, пяточка на паром нет.

– Я тебе дам пяточок.

– Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пяточок ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!

Мужик подошёл к самой воде, взялся рукой за канат и закричал:

– Иероним! Иерони-им!

Точно в ответ на его крик, с того берега донёсся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.

– Христос воскрес! – сказал он.

Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потёмки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.

– Иерони-им! – послышался глухой протяжный крик.

– С того берега кричат, – сказал мужик. – Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним.

Огни и бархатный звон колокола манили к себе... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, взглядываясь в тёмную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идёт к тому берегу.

– Скорей! Иероним! – крикнул мой мужик. – Барин дожидается!

Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.

– Отчего так долго? – спросил я, вскакивая на паром.

– Простите Христа ради, – ответил тихо Иероним. – Больше никого нет?
– Никого...

Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крикнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня – значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась «люминация», которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в стороны и позади них, откуда нёсся бархатный звон, была всё та же беспросветная, чёрная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдалённое «ура».

– Как красиво! – сказал я.

– И сказать нельзя, как красиво! – вздохнул Иероним. – Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?

Я сказал, откуда я.

– Так-с... радостный день нынче... – продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. – Радуете и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?

Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех «продлинновенных», душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:

– А какие, батюшка, у вас скорби?

– Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий, умер иеродьякон Николай...

– Что ж, это Божья воля! – сказал я, подделываясь под монашеский тон. – Всем умирать нужно. По-моему, вы должны ещё радоваться... Говорят, что кто умрёт под Пасху или на Пасху, тот непременно попадёт в царство небесное.

– Это верно.

Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались всё более и более.

– И писание ясно указывает на суету скорби, и размышление, – прервал молчание Иероним, – но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:

– Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме, и всё мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, Господи, его Душу!

Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.

– Ваше благородие, а ум какой светлый! – сказал он певучим голосом. – Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрени: «О, любезнаго! о, сладчайшаго твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был ещё и дар необычайный!

– Какой дар? – спросил я.

Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно верить тайны, весело засмеялся.

– У него был дар акафисты писать... – сказал он. – Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!

Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:

– Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!

– А разве акафисты трудно писать? – спросил я.

– Большая трудность... – покрутил головой Иероним. – Тут и мудростью, и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самонаименованной точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с «возбранный» или «избранный»... Первый икос всегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангел творче и господи сил», в акафисте к пресвятой богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть», к Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земнаго суца естеством» и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб всё было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жёсткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высоту, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубину, неудобозримая и ангельскими очима!» В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!»

Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.

– Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное... – пробормотал он. – Найдёт же такие слова! Даст же господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него всё выходит плавно и обстоятельно! «Светоподательна светильника сущим...» – сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашёл в уме своём! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно ещё, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райскаго прозябения!» – сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райскаго прозябения!» Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!

– Да, в таком случае жаль, что он умер, – сказал я. – Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем...

Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что всё тёмное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

– Николай печатал свои акафисты? – спросил я Иеронима.

– Где ж печатать? – вздохнул он. – Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!

– С предубеждением к ним относятся?

– Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему ещё и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.

– Для чего же он писал?

– Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать...

Иероним оставил канат и подошёл ко мне.

– Мы вроде как бы друзья с ним были, – зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. – Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а всё за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я всё равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ всё хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, всё равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил всегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдёт мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное...

Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потёмок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.

– Сейчас запоют пасхальный канон..., – сказал Иероним, – а Николая нет, некому вникать... Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поётся: дух захватывает!

– А вы разве не будете в церкви?

– Мне нельзя-с... Перевозить нужно...

– Но разве вас не сменяют?

– Не знаю... Меня ещё в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!..

А, признаться, хотелось бы в церковь...

– Вы монах?

– Да-с... то есть я послушник.

Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пяточок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налёг на канат, изогнулся и сдвинул с места паром...

Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к тёмным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Всё это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые

тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили ещё место заряжать маленькую пушку и продавать пряники!

По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фыркания не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.

«Какая беспокойная ночь! – думал я. – Как хорошо!»

Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идёт от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжёлые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.

Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не полагается никаких; пение, суетливое и весёлое, не прерывается до самого конца; после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые десять минут.

Не успел я занять места, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошёл высокий плотный дьякон с длинной красной свечой; за ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа отгиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался дьякон. На этот раз за ним шёл отец наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря.

Мне, слившемся с толпой и заразившемся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?

«Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь... – пели на клиросе, – се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя...»

Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества; но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не «захватывало духа». Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Всё, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всём храме человека счастливее его. Теперь же он плывал взад и вперёд по тёмной реке и тосковал по своём умершем брате и друге.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка.

Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мёртвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошёлся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, загля-

нул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая; Бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне моё воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходявшего по ночам пере-кликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звёздами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов.

Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подёрнуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомлёнными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки чёрного пепла. Когда человек утомлён и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла.

Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился лёгкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане.

– Христос воскрес! Больше никого нет? – спросил тихий голос.

Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потёмки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек, лет 35, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечёсаной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомлённый.

– Вас ещё не сменили? – удивился я.

– Меня-с? – переспросил он, поворачивая ко мне своё озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. – Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с.

Он да ещё какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места.

Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом черномбровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего её тумана. От её лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути.

В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.

1885–1886

Письмо

Благочинный о. Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда, наконец, уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик 65 лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что о. Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине... Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.

У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность – в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованы и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.

Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.

– Значит, вы нынче не поедете к себе домой? – спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.

О. Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:

– Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом следователем обстоятельно поговорить.

– Так... – зевнул благочинный. – А вы где остановились?

– У Зявкина.

О. Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти,

но прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, всё с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжающим смехом:

– Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мне... рюмочку водочки!

– Не время теперь пить водку, – строго сказал благочинный. – Стыд надо иметь.

Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить домой, опустился на стул. Благочинный взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика.

– Бог даст завтра выпьем, – сказал он, желая смягчить свой строгий отказ. – Всё хорошо вовремя.

Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный, робкий смех, каким он нарочно смеялся, чтобы сгладить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление.

Старик казался уже о. Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей, грязные нищенские полаты у Зявкина, вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь о. Анастасий, это – как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света.

Послышались шаги.

– О. Федор, вы не отдыхаете? – спросил из передней бас.

– Нет, дьякон, войди.

В залу вошел сослуживец Орлова, дьякон Любимов, человек старый, с плешью во всё темя, но еще крепкий, черноволосый и с густыми, черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел.

– Что скажешь хорошего? – спросил благочинный.

– Да что хорошего? – ответил дьякон и, помолчав немного, продолжал с улыбкой: – Малые дети – малое горе, большие дети – большое горе. Тут такая история, о. Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только.

Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал:

– Нынче Николай Матвейч из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раза два.

– Что же он тебе рассказывал?

– Встревожил, бог с ним. Хотел меня порадовать, а как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбеть надо, а не радоваться... «Твой, говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит, до него теперь не достанешь». Ну, и слава богу, говорю. «Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо». Мне, известно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обедом у него подавали? «Сначала, говорит, рыбное, словно как бы на манер ухи, потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную». Это в пост-то индейку? Хороша, говорю, радость. В великий пост-то индейку? А?

– Удивительного мало, – сказал благочинный, насмешливо щуя глаза.

И заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище закон божий:

– Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории: одни не исполняют по легкомыслию, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да.

Дьякон робко поглядел на строгое лицо о. Федора и сказал:

– Дальше – больше... Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой неверяка-сынок с какой-то мадамой живет, с чужой женой. Она у него на квартире вместо жены и хозяйки, чай разливает, гостей принимает и остальное прочее, как венчаная. Уже третий год, как с этой гадюкой хороводится. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету.

– Стало быть, в целомудрии живут! – захихикал о. Анастасий, сипло кашляя. – Есть дети, отец дьякон, есть, да дома не держат! В вошпитательные приюты отсылают! Хе, хе, хе... (Анастасий закашлялся.)

– Не суйтесь, о. Анастасий, – строго сказал благочинный.

– Николай Матвейч и спрашивает его: какая это такая у вас мадама за столом суп разливают? – продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. – А он ему: это, говорит, моя жена. А тот и спроси: «Давно ли изволили венчаться?» Петр и отвечает: мы венчались в кондитерской Куликова.

Глаза благочинного гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности, Петр был ему несимпатичен как человек вообще. О. Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо, потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре, обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению о. Федора, многословие детям неприлично и вредно; кроме того, Петруша презрительно и критически относился к рыбной ловле, до которой благочинный и дьякон были большие охотники. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы.

– Что же ты хочешь? – спросил благочинный, подходя к дьякону и сердито глядя на него. – Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай!

– Да что же я посеял, о. Федор? – тихо спросил дьякон, глядя снизу вверх на благочинного.

– А кто же виноват, как не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх божий. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить. На голом темени и на лбу дьякона выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал:

– Да разве я не наставлял, о. Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь старался и бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему нанимал, и в университете он кончил. А что ежели я его ум направить не мог, о. Федор, так ведь, судите сами, на это у меня способности нет! Бывало, когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему: «ходи в церковь», а он: «зачем ходить?» Станешь ему объяснять, а он: «почему? зачем?» Или похлопает меня по плечу и скажет: «Всё на этом свете относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничего же не знаете, папаша».

О. Анастасий сипло рассмеялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянул на него и сказал строго:

– Не суйтесь, о. Анастасий.

Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона, точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. Дьякон говорил искренно, с сокрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. О. Федору стало жаль его.

– Виноват ты, дьякон, виноват, – сказал он, но уже не так строго и горячо. – Умел родить, умей и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь!

Наступило молчание. Дьякон всплеснул руками и сказал со вздохом:

– А ведь мне же за него отвечать придется!

– То-то вот оно и есть!

Помолчав немного, благочинный и зевнул и вздохнул в одно и то же время, и спросил:

– Кто «Деяния» читает?⁴

– Евстрат. Всегда Евстрат читает.

Дьякон поднялся и, умоляюще глядя на благочинного, спросил:

– О. Федор, что же мне теперь делать?

– Что хочешь, то и делай. Не я отец, а ты. Тебе лучше знать.

– Ничего я не знаю, о. Федор! Научите меня, сделайте милость! Верите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидеть спокойно, и праздник мне не в праздник. Научите, о. Федор!

– Напиши ему письмо.

– Что же я ему писать буду?

– А напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долг и успокоишься.

– Это верно, но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ: «почему? зачем? почему это грех?»

О. Анастасий опять сипло засмеялся и шевельнул пальцами.

– Почему? Зачем? Почему это грех? – визгливо заговорил он. – Исповедую я раз одного господина и говорю ему, что излишнее упование на милосердие божие есть грех, а он спрашивает: почему? Хочу ему ответить, а тут, – Анастасий хлопнул себя по лбу, – а тут-то у меня и нету! Хи-и-хе-хе-хе...

Слова Анастасия, его сиплый дребезжащий смех над тем, что не смешно, подействовали на благочинного и дьякона неприятно. Благочинный хотел было сказать старику «не суйтесь», но не сказал, а только поморщился.

– Не могу я ему писать! – вздохнул дьякон.

– Ты не можешь, так кто же может?

– О. Федор! – сказал дьякон, склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу. – Я человек необразованный, слабоумный, вас же господь наделил разумом и мудростью. Вы всё знаете и понимаете, до всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушны, наставьте меня в рассуждении письма! Научите, как его и что...

– Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да написал.

– Нет, уж сделайте милость, отец настоятель! Молю вас. Я знаю, вашего письма он убоится и послушается, потому ведь вы тоже образованный. Будьте такие добрые! Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а нынче бы самое в пору, я бы и успокоился.

Благочинный поглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона за свой стол и начал:

– Ну, пиши... Христос воскрес, любезный сын... знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи... далее в скобках... а из какого источника, тебя это не касается... скобка... Написал?... что ты ведешь жизнь несообразную ни с божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское величие, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могут скрыть твоего языческого вида. Именем ты христианин, но по сути своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее,

⁴ «Деяния Апостолов» – пятая книга Нового завета, в которой описана деятельность учеников Христа.

ибо: те язычники, не зная Христа, погибают от неведения, ты же погибаешь оттого, что обладаешь сокровищем, но небрежешь им. Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны, скажу только, что причину твоей гибели вижу я в твоём неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо...

Всё письмо было в таком роде. Кончив писать, дьякон прочел его вслух, просиял и вскочил.

– Дар, истинно дар! – сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. – Пошлет же господь такое дарование! А? Мать царица! Во сто лет бы, кажется, такого письма не сочинил! Спаси вас господи!

О. Анастасий тоже пришел в восторг.

– Без дара так не напишешь! – сказал он, вставая и шевеля пальцами. – Не напишешь! Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум! Светлый ум! Не женились бы, о. Федор, давно бы вы в архиереях были, истинно, были бы!

Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснился сказать ему:

– Ну, дьякон, ступай с богом. Я с полчаса на диване подремлю, отдохнуть надо.

Дьякон ушел и увел с собою Анастасия. Как всегда бывает накануне Светлого дня, на улице было темно, но всё небо сверкало яркими, лучистыми звездами. В тихом, неподвижном воздухе пахло весной и праздником.

– Сколько времени он диктовал? – изумлялся дьякон. – Минут десять, не больше! Другой бы и в месяц такого письма не сочинил. А? Вот ум! Такой ум, что я и сказать не умею! Удивление! Истинно, удивление!

– Образование! – вздохнул Анастасий, при переходе через грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы. – Не нам с ним равняться. Мы из дьячков, а ведь он науки проходил. Да. Настоящий человек, что и говорить.

– А вы послушайте, как он нынче в обедне Евангелие будет читать по-латынски! И по-латынски он знает, и по-гречески знает... А Петруха, Петруха! – вдруг вспомнил дьякон. – Ну, теперь он поче-ешется! Закусит язык! Будет помнить кузькину мать! Теперь уже не спросит: почему? Вот уж именно дока на доку наскочил! Ха-ха-ха!

Дьякон весело и громко рассмеялся. После того как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость и добродушие.

– Петр в переводе значит камень, – говорил он, подходя к своему дому. – Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюка на него насела, а он с ней нянчится, спихнуть ее не может. Тьфу! Есть же, прости господи, такие женщины! А? Где ж в ней стыд? Насела на парня, прилипла и около юбки держит... к шутам ее на пасеку!

– А может, не она его держит, а он ее?

– Все-таки, значит, в ней стыда нет! А Петра я не защищаю... Ему достанется... Прочтет письмо и почешет затылок! Сгорит со стыда!

– Письмо славное, но только того... не посылать бы его, отец дьякон. Бог с ним!

– А что? – испугался дьякон.

– Да так! Не посылай, дьякон! Что толку? Ну, ты пошлешь, он прочтет, а... а дальше что? Встревожишь только. Прости, бог с ним!

Дьякон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, на его распахнувшуюся рясу, похожую в потемках на крылья, и пожал плечами.

– Как же так прощать? – спросил он. – Ведь я же за него богу отвечать буду!

– Хоть и так, а всё же прости. Право! А бог за твою доброту и тебя простит.

– Да ведь он мне сын? Должен я его учить или нет?

– Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачем язычником обзывать? Ведь ему, дьякон, обидно...

Дьякон был вдов и жил в маленьком, трехконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходящая с постели; он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. О. Анастасий зашел к нему. Увидев у него стол, уже покрытый куличами и красными яйцами, он почему-то, вероятно вспомнив про свой дом, заплакал и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же сипло засмеялся.

– Да, скоро разговляться, – сказал он. – Да... Оно бы, дьякон, и сейчас не мешало... рюмочку выпить. Можно? Я так выпью, – зашептал он, косясь на дверь, – что старушка... не услышит... ни-ни...

Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, развернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинный диктовал его. Он просиял от удовольствия и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой.

– Ну, письмо-о! – сказал он. – И не снилось Петрухе такое письмо. Такое вот и надо ему, чтоб в жар его бросило... во!

– Знаешь, дьякон? Не посылай! – сказал Анастасий, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. – Прости, бог с ним! Я тебе... вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди: наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал! Я... я, братушка, выпью... Последняя... Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-ет! Почувствует! Я, брат... я, дьякон, по себе это понимаю. Когда жил как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня хорошие люди простили. Да и то рассуди, не праведников прощать надо, а грешников. Для чего тебе старушку твою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко... да!

Анастасий подпер голову кулаком и задумался.

– Беда, дьякон, – вздохнул он, видимо борясь с желанием выпить. – Беда! Во гресех родила мать моя, во гресех жил, во гресех и помру...⁵ Господи, прости меня грешного! Запутался я, дьякон! Нет мне спасения! И не то, чтобы в жизни запутался, а в самой старости перед смертью... Я...

Старик махнул рукой и еще выпил, потом встал и пересел на другое место. Дьякон, не выпуская из рук письма, заходил из угла в угол. Он думал о своем сыне. Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его: всё это ушло в письмо. Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые годы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сыну, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия.

– Не посылай! – сказал тот, махнув кистью руки.

– Нет, все-таки... надо. Все-таки оно его того... немножко на ум наставит. Не лишнее...

Дьякон достал из стола конверт, но, прежде чем вложить в него письмо, сел за стол, улыбнулся и прибавил от себя внизу письма: «А к нам нового штатного смотрителя прислали. Этот пошустрей прежнего. И плясун, и говорун, и на все руки, так что говорювские дочки от него без ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорят, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо, дьякон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола.

1887

⁵ Перефразировка 50-го псалма царя Давида: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Библия. Псалтирь, пс. 50, ст. 7).

Казак

Арендатор хутора Низы Максим Горчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо... Перепел кричал свои: «пить пойдем! пить пойдем!», да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа.

Горчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, всё представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что всё у него исправно, домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и всё хорошо; глядел он на жену – и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик, ему стало еще веселее...

– Сказано, велик день! – говорил он. – Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!

– Оно не живое, – заметила жена.

– Да на нем люди есть! – воскликнул Горчаков. – Ей-богу, есть! Мне Иван Степаныч рассказывал – на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце! Право... А может, ученые и брешут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Горчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.

– Христос воскрес! – крикнул ему Максим.

– Воистину воскрес, – ответил казак, не поднимая головы.

– Куда едешь?

– Домой, на льготу.

– Зачем же тут сидишь?

– Да так... захворал... Нет мочи ехать.

– Что ж у тебя болит?

– Весь болю.

– Гм... вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты бы в деревню или на постоялый ехал, а что так сидеть?

Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь.

– Вы это из церкви? – спросил он.

– Из церкви.

– А меня праздник в дороге застал. Не привел бог доехать. Сейчас сесть бы да ехать, а мочи нет... Вы бы, православные, дали мне, проезжему, свяченой пасочки⁶ разговеться!

– Пасочки? – спросил Горчаков. – Оно можно, ничего... Постой, сейчас...

Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал:

– Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то – не рука, всю паску испортишь. Вот задача! Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?

Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.

⁶ На юге кулич называют «пасхой» или «паской». (Прим. А.П. Чехова.)

– Вот еще что выдумали! – сердито сказала жена Горчакова. – Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело – в степи разговляться! Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!

Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала:

– Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченная паска, и грех ее без толку кромсать.

– Ну, казак, не прогневайся! – сказал Горчаков и засмеялся. – Не велит жена! Прощай, путь-дорога!

Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена всё еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, – грех и непорядок, что всё должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга, носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики.

Отъехав больше версты, Горчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль.

– Не видать казака... – сказал он. – Экий сердяга, вздумал в дороге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет... Чего доброго, помрет в дороге... Не дали мы ему, Лизавета, паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется.

Солнце взошло, но играло оно или нет, Горчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.

Приехали домой, христосовались с работниками; Горчаков опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал:

– А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться.

– Чудной ты, ей-богу! – сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. – Где ты взял такую моду, чтобы свяченную паску раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь она порезана, на столе лежит, пушай ест, кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?

– Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге, далеко от дому, хворый...

Горчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно.

После разговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор.

– Ты уже встал? – спросила жена.

– Не спится что-то... Эх, Лизавета, – вздохнул он, – обидели мы с тобой казака!

– Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.

– Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с свиньей обошлись. Надо бы его, больного, домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.

– Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченную! Ты бы ее с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой!

Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам.

– Кузьма, брось гармонию, – обратился он к одному из них. – Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадьёю, так вот отдай ему это. Может, он еще не уехал.

Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки.

– Ну что? Видал казака?

– Нигде нету. Должно, уехал.

– Гм... история!

Горчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков:

– Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадей? Не проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.

Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.

– Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой – такого не было.

Вернулся Максим домой к обеду.

– Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! – сказал он жене. – Не дает покою. Я всё думаю: а что ежели это бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека!

– Да что ты ко мне с казаком пристал? – крикнула Лизавета, выходя из терпения. – Пристал, как смола!

– А ты, знаешь, недобрая... – сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо.

И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая.

– Пушай я недобрая, – крикнула она и сердито стукнула ложкой, – а только не стану я всяким пьяницам свяченную паску раздавать!

– А нешто казак пьяный?

– Пьяный!

– Почему ты знаешь?

– Пьяный!

– Ну и дура!

Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену, говорил, что она немилосердная и глупая. А она, тоже рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:

– Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!

За всё время после свадьбы у Горчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, всё думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно, казак всё не выходил из головы и Максиму мерещились то его большие глаза, то голос, то походка...

– Эх, обидели мы человека! – бормотал он. – Обидели!

Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, – хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.

Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился.

С этого и началось расстройство.

Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась постылой... Все эти напасти, как говорил Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что бог прогневался на него и на жену... за больного казака. Он всё чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак...

На мельнице

Мельник Алексей Бирюков, здоровенный, коренастый мужчина средних лет, фигурой и лицом похожий на тех топорных, толстокожих и тяжело ступающих матросов, которые снятся детям после чтения Жюль Верна, сидел у порога своей хижины и лениво сосал потухшую трубку. На этот раз он был в серых штанах из грубого солдатского сукна, в больших тяжелых сапогах, но без сюртука и без шапки, хотя на дворе стояла настоящая осень, сырая и холодная. Сквозь расстегнутую жилетку свободно проникала сырая мгла, но большое, черствое, как мозоль, тело мельника, по-видимому, не ощущало холода. Красное, мясистое лицо его по обыкновению было апатично и дрябло, точно спросонок, маленькие, заплывшие глазки угрюмо исподлобья глядели по сторонам то на плотину, то на два сарая с навесами, то на старые, неуклюжие ветлы.

Около сараев сустились два только что приехавших монастырских монаха: один Клиопа, высокий и седой старик в обрызганной грязью рясе и в латаной скуфейке, другой Диодор, чернобородый и смуглый, по-видимому, грузин родом, в обыкновенном мужицком тулупе. Они снимали с телег мешки с рожью, привезенной ими для помола. Несколько поодаль от них на темной, грязной траве сидел работник Евсей, молодой, безусый парень в рваном кургузом тулупе и совершенно пьяный. Он мял в руках рыболовную сеть и делал вид, что починяет ее.

Мельник долго водил глазами и молчал, потом уставился на монахов, таскавших мешки, и проговорил густым басом:

– Вы, монахи, зачем это в реке рыбу ловите? Кто вам позволил?

Монахи ничего не ответили и даже не взглянули на мельника.

Тот помолчал, закурил трубку и продолжал:

– Сами ловите да еще посадским мещанам позволяете. Я в посаде и у вас реку на откуп взял, деньги вам плачу, стало быть, рыба моя и никто не имеет полного права ловить ее. Богу молитесь, а воровать за грех не считаете.

Мельник зевнул, помолчал и продолжал ворчать:

– Ишь ты, какую моду взяли! Думают, что как монахи, в святые записались, так на них и управы нет. Возьму вот и подам мировому. Мировой не поглядит на твою рясу, насидишься ты у него в холодной. А то и сам, без мирового справлюсь. Попаду на реке и так шею накостыляю, что до страшного суда рыбы не захочешь!

– Напрасно вы такие слова говорите, Алексей Дорофеич! – проговорил Клиопа тихим тенорком. – Добрые люди, которые бога боятся, таких слов собаке не говорят, а ведь мы монахи!

– Монахи, – передразнил мельник. – Тебе понадобилась рыба? Да? Так ты купи у меня, а не воруй!

– Господи, да нешто мы ворует? – поморщился Клиопа. – Зачем такие слова? Наши послушники ловили рыбу, это точно, но ведь на это они от отца архимандрита дозволение имели. Отец архимандрит так рассуждают, что деньги взяты с вас не за всю реку, а только за то, чтоб вы на нашем берегу имели право сети ставить. Река не вся вам дадена... Она не ваша и не наша, а божья...

– И архимандрит такой же, как ты, – проворчал мельник, стуча трубкой по сапогу. – Любит обшить, тоже! А я разбирать не стану. Для меня архимандрит всё равно что ты или вот Евсей. Попаду его на реке, так и ему влетит...

– А что вы собираетесь бить монахов, так это как вам угодно. Для нас же на том свете лучше будет. Вы уж били Виссариона и Антипия, так бейте и других.

– Замолчи, не трогай его! – проговорил Диодор, дергая Клиопу за рукав.

Клиопа спохватился, умолк и стал таскать мешки, мельник же продолжал браниться. Ворчал он лениво, посасывая после каждой фразы трубку и сплевывая. Когда иссяк рыбный вопрос, он вспомнил о каких-то его собственных двух мешках, которые якобы «зажулили» когда-то монахи, и стал браниться из-за мешков, потом, заметив, что Евсей пьян и не работает, он оставил в покое монахов и набросился на работника, оглашая воздух отборною, отвратительною руганью.

Монахи сначала крепились и только громко вздыхали, но скоро Клиопа не вынес... Он всплеснул руками и произнес плачущим голосом:

– Владыка святой, нет для меня тягостнее послушания, как на мельницу ездить! Суший ад! Ад, истинно ад!

– А ты не езд! – огрызнулся мельник.

– Царица небесная, рады бы сюда не ездить, да где же нам другую мельницу взять? Сам посуды, кроме тебя тут в округности ни одной мельницы нет! Просто хоть с голоду помирай или немолотое зерно кушай!

Мельник не унимался и продолжал сыпать во все стороны ругань. Видно было, что ворчанье и ругань составляли для него такую же привычку, как сосанье трубки.

– Хоть ты нечистого не поминай! – умолял Клиопа, оторопело мигая глазами. – Ну помолчи, сделай милость!

Скоро мельник умолк, но не потому, что его умолял Клиопа. На плотине показалась какая-то старуха, маленькая, кругленькая, с добродушным лицом, в каком-то странном полозатом салопике, похожем на спинку жука. Она несла небольшой узелок и подпиралась маленькой палочкой...

– Здравствуйте, батюшки! – зашепелявила она, низко кланяясь монахам. – Помогай бог! Здравствуй, Алешенька! Здравствуй, Евсеюшка!..

– Здравствуйте, маменька, – пробормотал мельник, не глядя на старуху и хмурясь.

– А я к тебе в гости, батюшка мой! – сказала она, улыбаясь и нежно заглядывая в лицо мельника. – Давно не видала. Почитай, с самого Успеньева дня не видались... Рад не рад, а уж принимай! А ты словно похудел будто...

Старушонка уселась рядом с мельником, и около этого громадного человека ее салопик еще более стал походить на жука.

– Да, с Успеньева дня! – продолжала она. – Соскучилась, вся душа по тебе выболела, сыночек, а как соберусь к тебе, то или дождь пойдет, или заболую...

– Сейчас вы из посада? – угрюмо спросил мельник.

– Из посада... Прямо из дому...

– При ваших болезнях и при такой комплекции вам дома сидеть нужно, а не по гостям ходить. Ну, зачем вы пришли? Башмаков не жалко!

– Поглядеть на тебя пришла... Их у меня, сынов-то, двое, – обратилась она к монахам, – этот, да еще Василий, что в посаде. Двоечко. Им-то всё равно, жива я или померла, а ведь они-то у меня родные, утешение... Они без меня могут, а я без них, кажется, и дня бы не прожила... Только вот, батюшки, стара стала, ходить к нему из посада тяжело.

Наступило молчание. Монахи снесли в сарай последний мешок и сели на телегу отдыхать... Пьяный Евсей всё еще мял в руках сеть и клевал носом.

– Не вовремя пришли, маменька, – сказал мельник. – Сейчас мне в Каряжино ехать нужно.

– Езжай! с богом! – вздохнула старуха. – Не бросать же из-за меня дело... Я отдохну часик и пойду назад... Тебе, Алешенька, кланяется Вася с детками...

– Всё еще водку трескает?

– Не то чтобы уж очень, а пьет. Нечего греха таить, пьет... Много-то пить, сам знаешь, не на что, так вот разве иной раз добрые люди поднесут... Плохое его житье, Алешенька!

Намучилась я, на него гляючи... Есть нечего, детки оборванные, сам он – на улицу стыдно глаза показать, все штаны в дырах и сапогов нет... Все мы вшестером в одной комнате спим. Такая бедность, такая бедность, что горчее и придумать нельзя... С тем к тебе и шла, чтоб на бедность попросить... Ты, Алешенька, уж уважь старуху, помоги Василию... Брат ведь!

Мельник молчал и глядел в сторону.

– Он бедный, а ты – слава тебе, господи! И мельница у тебя своя, и огороды держишь, и рыбой торгуешь... Тебя господь и умудрил, и возвеличил супротив всех, и насытил... И одинокий ты... А у Васи четверо детей, я на его шее живу, окайная, а жалованья-то всего он семь рублей получает. Где ж ему прокормить всех? Ты помоги...

Мельник молчал и старательно набивал свою трубку.

– Дашь? – спросила старуха.

Мельник молчал, точно воды в рот набрал. Не дождавшись ответа, старуха вздохнула, обвела глазами монахов, Евсея, встала и сказала:

– Ну бог с тобой, не давай. Я и знала, что не дашь... Пришла я к тебе больше из-за Назара Андреича... Плачет уж очень, Алешенька! Руки мне целовал и всё просил меня, чтоб я сходила к тебе и упростила...

– Чего ему?

– Просит, чтоб ты ему долг отдал. Отвез, говорит, я ему рожь для помолу, а он назад и не отдал.

– Не ваше дело, маменька, в чужие дела мешаться, – проворчал мельник. – Ваше дело богу молиться.

– Я и молюсь, да уж что-то бог моих молитв не слушает. Василий нищий, сама я побираюсь и в чужом салопе хожу, ты хорошо живешь, но бог тебя знает, какая душа у тебя. Ох, Алешенька, испортили тебя глаза завистливые! Всем ты у меня хорош: и умен, и красавец, и из купцов купец, но не похож ты на настоящего человека! Неприветливый, никогда не улыбаешься, доброго слова не скажешь, немилостивый, словно зверь какой... Ишь какое лицо! А что народ про тебя рассказывает, горе ты мое! Спроси-ка вот батюшек! Врут, будто ты народ сосешь, насильничаешь, со своими разбойниками-работниками по ночам прохожих грабишь да коней воруешь... Твоя мельница, словно место какое проклятое... Девки и ребята близко подходить боятся, всякая тварь тебя сторонится. Нет тебе другого прозвания, окромя как Каин и Ирод...

– Глупые вы, маменька!

– Куда ни ступишь – трава не растет, куда ни дыхнешь – муха не летает. Только и слышу я: «Ах, хоть бы его скорей кто убил или засудили!» Каково-то матери слышать всё это? Каково? Ведь ты мне родное дитя, кровь моя...

– Одначе мне ехать пора, – проговорил мельник, поднимаясь. – Прощайте, маменька!

Мельник выкатил из сарая дроги, вывел лошадь и, втолкнув ее, как собачонку, между оглобелей, начал запрягать. Старуха ходила возле него, заглядывала ему в лицо и слезливо моргала.

– Ну, прощай! – сказала она, когда сын ее стал быстро натягивать на себя кафтан. – Оставайся тут с богом, да не забывай нас. Постой, я тебе гостинца дам... – забормотала она, понизив голос и развязывая узел. – Вчерась была у дьяконицы и там угощали... так вот я для тебя спрятала...

И старуха протянула к сыну руку с небольшим мятным пряником...

– Отстаньте вы! – крикнул мельник и отстранил ее руку.

Старуха сконфузилась, уронила пряник и тихо поплелась к плотине... Сцена эта произвела тяжелое впечатление. Не говоря уж о монахах, которые вскрикнули и в ужасе развели руками, даже пьяный Евсей окаменел и испуганно уставился на своего хозяина. Понял ли мель-

ник выражение лиц монахов и работника, или, быть может, в груди его шевельнулось давно уже уснувшее чувство, но только и на его лице мелькнуло что-то вроде испуга...

– Маменька! – крикнул он.

Старуха вздрогнула и оглянулась. Мельник торопливо полез в карман и достал оттуда большой кожаный кошелек...

– Вот вам... – пробормотал он, вытаскивая из кошелька комок, состоявший из бумажек и серебра. – Берите!

Он покрутил в руке этот комок, помял, для чего-то оглянулся на монахов, потом опять помял. Бумажки и серебряные деньги, скользя меж пальцев, друг за дружкой попадали обратно в кошелек, и в руке остался один только двугривенный... Мельник оглядел его, потер между пальцами и, крикнув, побагровев, подал его матери.

1886

На пути

*Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана...*

М. Лермонтов

В комнате, которую сам содержатель трактира, казак Семен Чистоплюй, называет «проезжающей», то есть назначенной исключительно для проезжих, за большим некрашеным столом сидел высокий широкоплечий мужчина лет сорока. Облокотившись о стол и подперев голову кулаком, он спал. Огарок сальной свечи, воткнутый в баночку из-под помады, освещал его русую бороду, толстый широкий нос, загорелые щеки, густые черные брови, нависшие над закрытыми глазами... И нос, и щеки, и брови, все черты, каждая в отдельности, были грубы и тяжелы, как мебель и печка в «проезжающей», но в общем они давали нечто гармоническое и даже красивое. Такова уж, как говорится, планида русского лица: чем крупнее и резче его черты, тем кажется оно мягче и добродушнее. Одет был мужчина в господский пиджак, поношенный, но обшитый новой широкой тесьмой, в плюшевую жилетку и широкие черные панталоны, засунутые в большие сапоги.

На одной из скамей, непрерывно тянувшихся вдоль стены, на меху лисьей шубы спала девочка лет восьми, в коричневом платьице и в длинных черных чулках. Лицо ее было бледно, волосы белокуры, плечи узки, всё тело худо и жидко, но нос выдавался такой же толстой и некрасивой шишкой, как и у мужчины. Она спала крепко и не чувствовала, как полукруглая гребенка, свалившаяся с головы, резала ей щеку.

«Проезжающая» имела праздничный вид. В воздухе пахло свежевывытыми полами, на веревке, которая тянулась диагонально через всю комнату, не висели, как всегда, тряпки и в углу, над столом, кладя красное пятно на образ Георгия Победоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность в переходе от божественного к светскому, от образа, по обе стороны угла, тянулся ряд лубочных картин. При тусклом свете огарка и красной лампадки картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами; когда же изразцовая печка, желая петь в один голос с погодой, с воем вдыхала в себя воздух, а поленья, точно очнувшись, вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали, тогда на бревенчатых стенах начинали прыгать румяные пятна, и можно было видеть, как над головой спавшего мужчины вырастали то старец Серафим, то шах Наср-Эддин, то жирный коричневый младенец, тарашивший глаза и шептавший что-то на ухо девице с необыкновенно тупым и равнодушным лицом...

На дворе шумела непогода. Что-то бешеное, злобное, но глубоко несчастное с яростью зверя металось вокруг трактира и старалось ворваться вовнутрь. Хлопая дверями, стуча в окна и по крыше, царапая стены, оно то грозило, то умоляло, а то утихало ненадолго и потом с радостным, предательским воем врывалось в печную трубу, но тут поленья вспыхивали и огонь, как цепной пес, со злобой неся навстречу врагу, начиналась борьба, а после нее рыдания, визг, сердитый рев. Во всем этом слышались и злобствующая тоска, и неудовлетворенная ненависть, и оскорбленное бессилие того, кто когда-то привык к победам...

Очарованная этой дикой, нечеловеческой музыкой, «проезжающая», казалось, оцепенела навеки. Но вот скрипнула дверь, и в комнату вошел трактирный мальчик в новой коленкоровой рубахе. Прихрамывая на одну ногу и моргая сонными глазами, он снял пальцами со свечи, подложил в печку поленьев и вышел. Тотчас же в церкви, которая в Рогачах находится в трехстах шагах от трактира, стали бить полночь. Ветер играл со звоном, как со снеговыми хло-

пьями; гоняясь за колокольными звуками, он кружил их на громадном пространстве, так что одни удары прерывались или растягивались в длинный, волнистый звук, другие вовсе исчезали в общем гуле. Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами. Девочка, спавшая на лисьем меху, вздрогнула и приподняла голову. Минуту она глядела бессмысленно на темное окно, на Наср-Эддина, по которому в это время скользил багряный свет от печки, потом перевела взгляд на спавшего мужчину.

– Папа! – сказала она.

Но мужчина не двигался. Девочка сердито сдвинула брови, легла и поджала ноги. За дверью в трактире кто-то громко и протяжно зевнул. Вскоре вслед за этим послышался визг дверного блока и неясные голоса. Кто-то вошел и, стряхивая с себя снег, глухо затопал валяными сапогами.

– Чиво? – лениво спросил женский голос.

– Барышня Иловайская приехала... – отвечал бас.

Опять завизжал дверной блок. Послышался шум ворвавшегося ветра. Кто-то, вероятно, хромой мальчик, подбежал к двери, которая вела в «проезжающую», почтительно кашлянул и тронул щеколду.

– Сюда, матушка-барышня, пожалуйста, – сказал певучий женский голос, – тут у нас чисто, красавица...

Дверь распахнулась, и на пороге показался бородатый мужик, в кучерском кафтане и с большим чемоданом на плече, весь, с головы до ног, облепленный снегом. Вслед за ним вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура без лица и без рук, окутанная, обмотанная, похожая на узел и тоже покрытая снегом. От кучера и узла на девочку пахло сыростью, как из погреба, и огонь свечки заколебался.

– Какие глупости! – сказал сердито узел. – Отлично можно ехать! Осталось ехать только двенадцать верст, всё больше лесом, и не заблудились бы...

– Заблудиться-то не заблудились бы, да кони не идут, барышня! – отвечал кучер. – И господи твоя воля, словно я нарочно!

– Бог знает куда привез... Но тише... Тут, кажется, спят. Ступай отсюда...

Кучер поставил на пол чемодан, причем с его плеч посыпались пласты снега, издал носом всхлипывающий звук и вышел. Затем девочка видела, как из середины узла вылезли две маленьких ручки, потянулись вверх и стали сердито распутывать путаницу из шалей, платков и шарфов. Сначала на пол упала большая шаль, потом башлык, за ним белый вязаный платок. Освободив голову, приезжая сняла салоп и сразу сузилась наполовину. Теперь уж она была в длинном сером пальто с большими пуговицами и с оттопыренными карманами. Из одного кармана вытащила она бумажный сверток с чем-то, из другого вязку больших, тяжелых ключей, которую положила так неосторожно, что спавший мужчина вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он тупо глядел по сторонам, как бы не понимая, где он, потом встряхнул головой, пошел в угол и сел... Приезжая сняла пальто, отчего опять сузилась наполовину, стащила с себя плисовые сапоги и тоже села.

Теперь уж она не походила на узел. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет 20, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и с вьющимися волосами. Нос у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острые, и, благодаря этой всеобщей остроте, выражение лица казалось колючим. Затянутая в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах, с острыми локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты средневековых английских дам. Серьезное, сосредоточенное выражение лица еще более увеличивало это сходство...

Брюнетка оглядела комнату, покосилась на мужчину и девочку и, пожав плечами, пересела к окну. Темные окна дрожали от сырого западного ветра. Крупные хлопья снега, сверкая

белизной, ложились на стекла, но тотчас же исчезали, уносимые ветром. Дикая музыка становилась всё сильнее...

После долгого молчания девочка вдруг заворочалась и сказала, сердито отчеканивая каждое слово:

– Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастней всех!

Мужчина поднялся и виноватой походкой, которая совсем не шла к его громадному росту и большой бороде, засеменил к девочке.

– Ты не спишь, дружок? – спросил он извиняющимся голосом. – Чего ты хочешь?

– Ничего не хочу! У меня плечо болит! Ты, папа, нехороший человек, и бог тебя накажет!

Вот увидишь, что накажет!

– Голубчик мой, я знаю, что у тебя болит плечо, но что же я могу сделать, дружок? – сказал мужчина тоном, каким подвыпившие мужья извиняются перед своими строгими супругами. – Это, Саша, у тебя от дороги болит плечо. Завтра мы приедем к месту, отдохнем, оно и пройдет...

– Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мне завтра. Мы еще двадцать дней будем ехать!

– Но, дружок, честное слово отца, мы приедем завтра. Я никогда не лгу, а если нас задержала выюга, то я не виноват.

– Я не могу больше терпеть! Не могу, не могу!

Саша резко дрыгнула ногой и огласила комнату неприятным визгливым плачем. Отец ее махнул рукой и растерянно поглядел на брюнетку. Та пожала плечами и нерешительно подошла к Саше.

– Послушай, милая, – сказала она, – зачем же плакать? Правда, нехорошо, если болит плечо, но что же делать?

– Видите ли, сударыня, – быстро заговорил мужчина, как бы оправдываясь, – мы не спали две ночи и ехали в отвратительном экипаже. Ну, конечно, естественно, что она больна и тоскует... А тут еще, знаете ли, нам пьяный извозчик попался, чемодан у нас украли... метель всё время, но к чему, сударыня, плакать? Впрочем, этот сон в сидячем положении утомил меня, и я точно пьяный. Ей-богу, Саша, тут и без тебя тошно, а ты еще плачешь!

Мужчина покрутил головой, махнул рукой и сел.

– Конечно, не следует плакать, – сказала брюнетка. – Это только грудные дети плачут. Если ты больна, милая, то надо раздеться и спать... Давай-ка разденемся!

Когда девочка была раздета и успокоена, опять наступило молчание. Брюнетка сидела у окна и с недоумением оглядывала трактирную комнату, образ, печку... По-видимому, ей казались странными и комната, и девочка с ее толстым носом, в короткой мальчишеской сорочке, и девочкин отец. Этот странный человек сидел в углу, растерянно, как пьяный, поглядывал по сторонам и мял ладонью свое лицо. Он молчал, моргал глазами, и, глядя на его виноватую фигуру, трудно было предположить, чтоб он скоро начал говорить. Но первый начал говорить он. Погладив себе колени, кашлянув, он усмехнулся и сказал:

– Комедия, ей-богу... Смотрю и глазам своим не верю: ну, за каким лешим судьба загнала нас в этот поганый трактир? Что она хотела этим выразить? Жизнь выделяет иногда такие *salto mortale*⁷, что только гляди и в недоумении глазами хлопай. Вы, сударыня, далеко изволите ехать?

– Нет, недалеко, – ответила брюнетка. – Я еду из нашего имения, отсюда верст двадцать, в наш же хутор, к отцу и брату. Я сама Иловайская, ну и хутор также называется Иловайским, двенадцать верст отсюда. Какая неприятная погода!

– Чего хуже!

⁷ Смертельные прыжки (лат.).

Вошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый огарок.

– Ты бы, хлопче, самоварчик нам поставил! – обратился к нему мужчина.

– Кто ж теперь чай пьет? – усмехнулся хромой. – Грех до обедни пить.

– Ничего, хлопче, не ты будешь гореть в аду, а мы...

За чаем новые знакомые разговорились. Иловайская узнала, что ее собеседника зовут Григорием Петровичем Лихаревым, что он родной брат тому самому Лихареву, который в одном из соседних уездов служит предводителем, и сам был когда-то помещиком, но «своевременно прогорел». Лихарев же узнал, что Иловайскую зовут Марьей Михайловной, что имение у ее отца громадное, но что хозяйничать приходится только ей одной, так как отец и брат смотрят на жизнь сквозь пальцы, беспечны и слишком любят борзых.

– Отец и брат на хуторе одни-одинёшеньки, – говорила Иловайская, шевеля пальцами (в разговоре у нее была манера шевелить перед своим колючим лицом пальцами и, после каждой фразы, облизывать острым язычком губы), – они, мужчины, народ беспечный, и сами для себя пальцем не пошевелинут. Воображаю, кто даст им разговеться! Матери у нас нет, а прислуга у нас такая, что без меня и скатерти путем не постелют. Можете теперь представить их положение! Они останутся без разговенья, а я всю ночь должна здесь сидеть. Как всё это странно!

Иловайская пожала плечами, отхлебнула из чашки и сказала:

– Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники. Мой брат, например, толкует, что бога нет, а на Пасху первый бежит к заутрене.

Лихарев поднял глаза на Иловайскую и засмеялся.

– Толкуют, что бога нет, – продолжала Иловайская, тоже засмеявшись, – но почему же, скажите мне, все знаменитые писатели, ученые, вообще умные люди, под конец жизни веруют?

– Кто, сударыня, в молодости не умел верить, тот не уверует и в старости, будь он хоть распереписатель.

Судя по кашлю, у Лихарева был бас, но, вероятно, из боязни говорить громко или из излишней застенчивости, он говорил тенором. Помолчав немного, он вздохнул и сказал:

– Я так понимаю, что вера есть способность духа. Она всё равно что талант: с нею надо родиться. Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видал на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени. Русская жизнь представляет из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия или отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое.

Лихарев принял от Иловайской чашку с чаем, отхлебнул сразу половину и продолжал:

– Я вам про себя скажу. В мою душу природа вложила необыкновенную способность верить. Полжизни я состоял, не к ночи будь сказано, в штате атеистов и нигилистов, но не было в моей жизни ни одного часа, когда бы я не веровал. Все таланты обнаруживаются обыкновенно в раннем детстве, так и моя способность давала уже себя знать, когда я еще под столом пешком ходил. Моя мать любила, чтобы дети много ели, и когда, бывало, кормила меня, то говорила: «Ешь! Главное в жизни суп!» Я верил, ел этот суп по десяти раз в день, ел как акула, до отвращения и обморока. Рассказывала нянька сказки, и я верил в домовых, в леших, во всякую чертовщину. Бывало, краду у отца сулему, посыпаю ею пряники и ношу их на чердак, чтоб, видите ли, домовые поели и передохли. А когда научился читать и понимать читанное, то пошла писать губерния! Я и в Америку бегал, и в разбойники уходил, и в монастырь просился, и мальчишек нанимал, чтоб они меня мучили за Христа. И заметьте, вера у меня была всегда деятельная, не мертвая. Ежели я в Америку убежал, то не один, а совращал с собой еще кого-нибудь, такого же дурака, как я, и рад был, когда мерз за заставой и когда меня пороли; ежели в разбойники уходил, то возвращался непременно с разбитой рожей. Беспокойнейшее детство, я вам доложу! А когда меня отдали в гимназию и осыпали там всякими истинами вроде того,

что земля ходит вокруг солнца, или что белый цвет не белый, а состоит из семи цветов, закружилась моя головушка! Всё у меня полетело кувырком: и Навин, остановивший солнце, и мать, во имя пророка Илии отрицавшая громоотводы, и отец, равнодушный к истинам, которые я узнал. Мое прозрение вдохновило меня. Как шальной, ходил я по дому, по конюшням, проповедовал свои истины, приходил в ужас от невежества, пылал ненавистью ко всем, кто в белом цвете видел только белое... Впрочем, всё это пустяки и мальчишество. Серьезные же, так сказать, мужественные увлечения начались у меня с университета. Вы, сударыня, изволили где-нибудь окончить курс?

– В Новочеркасске, в Донском институте.

– А на курсах не были? Стало быть, вы не знаете, что такое науки. Все науки, сколько их есть на свете, имеют один и тот же паспорт, без которого они считают себя невысказанными: стремление к истине! Каждая из них, даже какая-нибудь фармакогнозия, имеет свою цель не пользу, не удобства в жизни, а истину. Замечательно! Когда вы принимаетесь изучать какую-нибудь науку, то вас прежде всего поражает ее начало. Я вам скажу, нет ничего увлекательнее и грандиознее, ничто так не ошеломляет и не захватывает человеческого духа, как начало какой-нибудь науки. С первых же пяти-шести лекций вас уже окрыляют самые яркие надежды, вы уже кажетесь себе хозяином истины. И я отдался наукам беззаветно, страстно, как любимой женщине. Я был их рабом и, кроме них, не хотел знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я зубрил, разорялся на книги, плакал, когда на моих глазах люди эксплуатировали науку ради личных целей. Но я не долго увлекался. Штука в том, что у каждой науки есть начало, но вовсе нет конца, всё равно, как у периодической дроби. Зоология открыла 35 000 видов насекомых, химия насчитывает 60 простых тел. Если со временем к этим цифрам прибавится справа по десяти нолей, зоология и химия так же будут далеки от своего конца, как и теперь, а вся современная научная работа заключается именно в приращении цифр. Сей фокус я уразумел, когда открыл 35 001-й вид и не почувствовал удовлетворения. Ну-с, разочарования я не успел пережить, так как скоро мною овладела новая вера. Я ударился в нигилизм с его прокламациями, черными переделами и всякими штуками. Ходил я в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках. Потом, когда, шатаюсь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал в его бога, в язык, творчество... И так далее, и так далее... В свое время был я славянофилом, надоедал Аксакову письмами, и украинофилом, и археологом, и собирателем образцов народного творчества... увлекался я идеями, людьми, событиями, местами... увлекался без перерыва! Пять лет тому назад я служил отрицанию собственности; последней моей верой было непротивление злу.

Саша прерывисто вздохнула и задвигалась. Лихарев поднялся и подошел к ней.

– Дружочек мой, не хочешь ли чаю? – спросил он нежно.

– Пей сам! – грубо ответила девочка.

Лихарев сконфузился и виноватой походкой вернулся к столу.

– Значит, вам весело жилось, – сказала Иловайская. – Есть о чем вспомнить.

– Ну да, всё это весело, когда сидишь за чаем с доброй собеседницей и болтаешь, но вы спросите, во что мне обошлась эта веселость? Что стоило мне разнообразие моей жизни? Ведь я, сударыня, веровал не как немецкий доктор философии, не цирлих-манирлих, не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело. Судите вы сами. Был я богат, как братья, но теперь я нищий. В чаду увлечений я ухлопал и свое состояние и женино – массу чужих денег. Мне теперь 42 года, старость на носу, а я бесприютен, как собака, которая отстала ночью от обоза. Во всю жизнь мою я не знал, что такое покой. Душа моя непрерывно томилась, страдала даже надеждами... Я изнывал от тяжкого беспорядочного труда, терпел лишения, раз пять сидел в тюрьме, таскался по Архангельским и Тобольским губерниям... вспоминать больно! Я жил, но в чаду не чувствовал самого процесса жизни. Верите ли, я не

помню ни одной весны, не замечал, как любила меня жена, как рождались мои дети. Что еще сказать вам? Для всех, кто любил меня, я был несчастьем... Моя мать вот уже 15 лет носит по мне траур, а мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, гнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву.

Лихарев поднялся и опять сел.

– Если б я был только несчастлив, то я возблагодарил бы бога, – продолжал он, не глядя на Иловайскую. – Мое личное несчастье уходит на задний план, когда я вспоминаю, как часто в своих увлечениях я был нелеп, далек от правды, несправедлив, жесток, опасен! Как часто я всей душой ненавидел и презирал тех, кого следовало бы любить, и – наоборот. Изменял я тысячу раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом бегу от сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлца, которого пускают мне вслед. Бог один видел, как часто от стыда за свои увлечения я плакал и грыз подушку. Ни разу в жизни я умышленно не солгал и не сделал зла, но нечиста моя совесть! Сударыня, я не могу даже похвастать, что на моей совести нет ничьей жизни, так как на моих же глазах умерла моя жена, которую я изнурил своею бесшабашностью. Да, моя жена! Послушайте, у нас в общежитии преобладают теперь два отношения к женщинам. Одни измеряют женские черепа, чтоб доказать, что женщина ниже мужчины, ищут ее недостатков, чтоб глумиться над ней, оригинальничать в ее же глазах и оправдать свою животность. Другие же из всех сил стараются поднять женщину до себя, т. е. заставить ее зазубрить 35 000 видов, говорить и писать те же глупости, какие они сами говорят и пишут...

Лицо Лихарева потемнело.

– А я вам скажу, что женщина всегда была и будет рабой мужчины, – заговорил он басом, стукнув кулаком по столу. – Она нежный, мягкий воск, из которого мужчина всегда лепил всё, что ему угодно. Господи боже мой, из-за грошového мужского увлечения она стригла себе волосы, бросала семью, умирала на чужбине... Между идеями, для которых она жертвовала собой, нет ни одной женской... Беззаветная, преданная раба! Черепов я не измерял, а говорю это по тяжкому, горькому опыту. Самые гордые самостоятельные женщины, если мне удавалось сообщать им свое вдохновение, шли за мной, не рассуждая, не спрашивая и делая всё, что я хотел; из монашенки я сделал нигилистку, которая, как потом я слышал, стреляла в жандарма; жена моя не оставляла меня в моих скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я менял свои увлечения.

Лихарев вскочил и заходил по комнате.

– Благородное, возвышенное рабство! – сказал он, всплескивая руками. – В нем-то именно и заключается высокий смысл женской жизни! Из страшного сумбура, накопившегося в моей голове за всё время моего общения с женщинами, в моей памяти, как в фильтре, уцелели не идеи, не умные слова, не философия, а эта необыкновенная покорность судьбе, это необычайное милосердие, всепрощение...

Лихарев сжал кулаки, усталился в одну точку и с каким-то страстным напряжением, точно обсасывая каждое слово, процедил сквозь сжатые зубы:

– Эта... эта великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца... Смысл жизни именно в этом безропотном мученичестве, в слезах, которые размягчают камень, в безграничной, всепрощающей любви, которая вносит в хаос жизни свет и теплоту...

Иловайская медленно поднялась, сделала шаг к Лихареву и впила глазами в его лицо. По слезам, которые блестели на его ресницах, по дрожавшему, страстному голосу, по румянцу щек для нее ясно было, что женщины были не случайною и не простою темою разговора. Они были предметом его нового увлечения или, как сам он говорил, новой веры! Первый раз в жизни Иловайская видела перед собой человека увлеченного, горячо верующего. Жестикуюлируя, сверкая глазами, он казался ей безумным, иступленным, но в огне его глаз, в речи, в

движениях всего большого тела чувствовалось столько красоты, что она, сама того не замечая, стояла перед ним, как вкопанная, и восторженно глядела ему в лицо.

– А возьмите вы мою мать! – говорил он, протягивая к ней руки и делая умоляющее лицо. – Я отравил ее существование, обесславил, по ее понятиям, род Лихаревых, причинил ей столько зла, сколько может причинить злейший враг, и – что же? Братья выдают ей гроши на просфоры и молебны, а она, насилуя свое религиозное чувство, копит эти деньги и тайком шлет их своему беспутному Григорию! Одна эта мелочь воспитает и облагородит душу гораздо сильнее, чем все теории, умные слова, 35 000 видов! Я вам могу тысячу примеров привести. Да вот хоть бы вас взять! На дворе вьюга, ночь, а вы едете к брату и отцу, чтобы в праздник согреть их лаской, хотя они, быть может, не думают, забыли о вас. А погодите, полюбите человека, так вы за ним на северный полюс пойдете. Ведь пойдете?

– Да, если... полюблю.

– Вот видите! – обрадовался Лихарев и даже ногою притопнул. – Ей-богу, так я рад, что с вами познакомился! Такая добрая моя судьба, всё я с великолепными людьми встречаюсь. Что ни день, то такое знакомство, что за человека просто бы душу отдал. На этом свете хороших людей гораздо больше, чем злых. Вот подите же, так мы с вами откровенно и по душам поговорили, как будто сто лет знакомы. Иной раз, доложу я вам, лет десять крепишься, молчишь, от друзей и жены скрытничает, а встретишь в вагоне кадета и всю ему душу выболтаешь. Вас я имею честь видеть только первый раз, а покался вам, как никогда не каялся. Отчего это?

Потирая руки и весело улыбаясь, Лихарев прошелся по комнате и опять заговорил о женщинах. Между тем зазвонили к заутрене.

– Господи! – заплакала Саша. – Он своими разговорами не дает мне спать!

– Ах, да! – спохватился Лихарев. – Виноват, дружок. Спи, спи... Кроме нее, у меня еще двое мальчиков есть, – зашептал он. – Те, сударыня, у дяди живут, а эта не может и дня продышать без отца. Страдает, ропщет, а липнет ко мне, как муха к меду. Я, сударыня, заболтался, а оно бы и вам не мешало отдохнуть. Не угодно ли, я сделаю вам постель?

Не дожидаясь позволения, он встряхнул мокрый салоп и растянул его по скамье, мехом вверх, подобрал разбросанные платки и шали, положил у изголовья свернутое в трубку пальто, и всё это молча, с выражением подобострастного благоговения на лице, как будто возился не с женскими тряпками, а с осколками освященных сосудов. Во всей его фигуре было что-то виноватое, конфузливое, точно в присутствии слабого существа он стыдился своего роста и силы...

Когда Иловайская легла, он потушил свечку и сел на табурет около печки.

– Так-то, сударыня, – шептал он, закуривая толстую папиросу и пуская дым в печку. – Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие... Да-с...

Иловайская удивленно вглядывалась в потемки и видела только красное пятно на образе и мелькание печного света на лице Лихарева. Потемки, колокольный звон, рев метели, хромой мальчик, ропшущая Саша, несчастный Лихарев и его речи – всё это мешалось, выросло в одно громадное впечатление, и мир божий казался ей фантастичным, полным чудес и чарующих сил. Всё только что слышанное звучало в ее ушах, и жизнь человеческая представлялась ей прекрасной, поэтической сказкой, в которой нет конца.

Громадное впечатление росло и росло, заволокло собой сознание и обратилось в сладкий сон. Иловайская спала, но видела лампадку и толстый нос, по которому прыгал красный свет.

Слышала она плач.

– Дорогой папа, – нежно умолял детский голос, – вернемся к дяде! Там елка! Там Степа и Коля!

– Дружочек мой, что же я могу сделать? – убеждал тихий мужской бас. – Пойми меня! Ну, пойми!

И к детскому плачу присоединился мужской. Этот голос человеческого горя среди воя непогоды коснулся слуха девушки такой сладкой, человеческой музыкой, что она не вынесла наслаждения и тоже заплакала. Слышала она потом, как большая черная тень тихо подходила к ней, поднимала с полу упавшую шаль и кутала ее ноги.

Разбудил Иловайскую странный рев. Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя. В окна, наполовину занесенные снегом, глядела синева рассвета. В комнате стояли серые сумерки, сквозь которые ясно вырисовывались и печка, и спавшая девочка, и Наср-Эддин. Печь и лампадка уже потухли. В раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная комната с прилавком и столами. Какой-то человек, с тупым, цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица. Толпа беспорядочно редела, и из ее рева Иловайская поняла только один куплет:

Гей, ты, хлопчик маненький,
Бери ножик тоненький,
Убьем, убьем жида,
Прискорбного сына...

Около прилавка стоял Лихарев, глядел с умилением на певцов и притопывал в такт ногой. Увидев Иловайскую, он улыбнулся во всё лицо и подошел к ней. Она тоже улыбнулась.

– С праздником! – сказал он. – Я видел, вы хорошо спали.

Иловайская глядела на него, молчала и продолжала улыбаться.

После ночных разговоров он уж казался ей не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам кажется маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл океан.

– Ну, мне пора ехать, – сказала она. – Надо одеваться. Скажите, куда же вы теперь направляетесь?

– Я-с? На станцию Клинушки, оттуда в Сергиево, а из Сергиева 40 верст на лошадях в угольные шахты одного дурня, некоего генерала Шашковского. Там мне братья место управляющего нашли... Буду уголь копать.

– Позвольте, я эти шахты знаю. Ведь Шашковский мой дядя. Но... зачем вы туда едете? – спросила Иловайская, удивленно оглядывая Лихарева.

– В управляющие. Шахтами управлять.

– Не понимаю! – пожала плечами Иловайская. – Вы едете в шахты. Но ведь там голая степь, безлюдье, скука такая, что вы дня не проживете! Уголь отвратительный, никто его не покупает, а мой дядя маньяк, деспот, банкрот... Вы и жалованья не будете получать!

– Всё равно, – сказал равнодушно Лихарев. – И за шахты спасибо.

Иловайская пожала плечами и в волнении заходила по комнате.

– Не понимаю, не понимаю! – говорила она, шевеля перед своим лицом пальцами. – Это невозможно и... и неразумно! Вы поймите, что это... это хуже ссылки, это могила для живого человека! Ах, господи, – горячо сказала она, подходя к Лихареву и шевеля пальцами перед его улыбающимся лицом; верхняя губа ее дрожала и колючее лицо побледнело. – Ну, представьте вы голую степь, одиночество. Там не с кем слова сказать, а вы... увлечены женщинами! Шахты и женщины!

Иловайская вдруг устыдилась своей горячности и, отвернувшись от Лихарева, отошла к окну.

– Нет, нет, вам туда нельзя ехать! – сказала она, быстро водя пальцем по стеклу.

Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нее стоит бесконечно несчастный, пропащий, заброшенный человек, а он, точно не сознавая своего несчастья, точно не он плакал ночью, глядел на нее и добродушно улыбался. Уж лучше бы он продолжал плакать! Несколько раз в волнении прошла она по комнате, потом остановилась в углу и задумалась. Лихарев что-то говорил, но она его не слышала. Повернувшись к нему спиной, она вытащила из портмоне четвертную бумажку, долго мяла ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснела и сунула бумажку к себе в карман.

За дверью послышался голос кучера. Иловайская молча, со строгим, сосредоточенным лицом, стала одеваться. Лихарев кутал ее и весело болтал, но каждое его слово ложилось на ее душу тяжестью. Невесело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие.

Когда было кончено превращение живого человека в бесформенный узел, Иловайская оглядела в последний раз «проезжающую», постояла молча и медленно вышла. Лихарев пошел проводить ее...

А на дворе всё еще, бог знает чего ради, злилась зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и не находили себе места. Лошади, сани, деревья, бык, привязанный к столбу, – всё было бело и казалось мягким, пушистым.

– Ну, дай бог вам, – бормотал Лихарев, усаживая Иловайскую в сани. – Не поминайте лихом...

Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объезжать большой сугроб, она оглянулась на Лихарева с таким выражением, как будто что-то хотела сказать ему. Тот подбежал к ней, но она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висли снежинки...

Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочесть этот взгляд или, быть может, его обмануло воображение, но ему вдруг стало казаться, что еще бы два-три хороших, сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолье и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он, как вкопанный, и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи... Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его всё еще искали чего-то в облаках снега.

1886

Панихида

В церкви Одигитриевской божией матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвинулся и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства: смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки навывпуск и солидные калоши, те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных.

Его заплывшие, ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего ктитору просфору... Всё это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев... Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно: у северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачения, и сердито мигает своими густыми бровями.

«Кому это он мигает, дай бог ему здоровья? – думает лавочник. – А, и пальцем закивал! И ногой топнул, скажи на милость... Что за оказия, мать царица? Кому это он?»

Андрей Андреич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек десять, да и те стоят спиной к алтарю.

– Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние? – слышит он сердитый голос отца Григория. – Тебя зову!

Лавочник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что миганье бровей и киванье пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю.

– Андрей Андреич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии? – спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное, вспотевшее лицо.

– Точно так.

– Так, стало быть, ты это написал? Ты?

И отец Григорий сердито тычет к глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреечем на проскомидию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано:

«За упокой рабы божией блудницы Марии».

– Точно так... я-с написал... – отвечает лавочник.

– Как же ты смел написать это? – протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шепоте слышатся гнев и испуг.

Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается: отродясь еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами! Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расплзается во все стороны, как пролитое тесто.

– Как ты смел? – повторяет батюшка.

– Ко... кого-с? – недоумевает Андрей Андреич.

– Ты не понимаешь?! – шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и всплескивая руками. – Что же у тебя на плечах: голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно! Что глаза пучишь? Нешто не знаешь, какой смысл имеет это слово?

– Это вы касательно блудницы-с? – бормочет лавочник, краснея и мигая глазами. – Но ведь господь, по благодати своей, тово... это самое, простил блудницу... место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской видать, в каких смыслах это самое слово, извините...

Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом.

– Вот как ты понимаешь! – всплескивает руками отец Григорий. – Но ведь господь простил – понимаешь? – простил, а ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь! Повторяю тебе, Андрей: мудрствовать не нужно! Да, мудрствовать, брат, не нужно! Коли дал тебе бог испытующий разум и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай... Не вникай и молчи!

– Но ведь она тово... извините, актерка была! – выговаривает ошеломленный Андрей Андреич.

– Актерка! Да кто бы она ни была, ты всё после ее смерти забыть должен, а не то что на записках писать!

– Это точно... – соглашается лавочник.

– Наложить бы на тебя эпитимию, – басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андренча, – так перестал бы умствовать! Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали... Философ!

– Оно, конечно... действительно... – бормочет лавочник, – слово неподходящее, но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному... чтоб вам видней было, за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагеи, Егора-воина, убиенного Павла и прочее разное... Так и я желал.

– Неразумно, Андрей! Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи десять поклонов и ступай.

– Слушаю, – говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. – Десять поклонов? Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвоьте к вам с просьбой... Потому, как я все-таки отец ей... сами знаете, а она мне, какая там ни на есть, все-таки дочь, то я тово... извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвоьте просить, отец дьякон!

– Вот это хорошо! – говорит отец Григорий, разоблачаясь. – За это хвалю. Можно одобрить... Ну, ступай! Мы сейчас выйдем.

Андрей Андреич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с коливом, и, немного погодя, панихида начинается.

В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение... Возле Андрея Андренча стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукый Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным, глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавочник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку... Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов-лакеев, в белом теле, около барышень. Господа, от нечего делать, выучили ее читать, писать, танцевать, он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве, случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл за знатока уставов и св. писания! Девочка, как ни хмуро и ни солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним

зевая, но зато, когда он, заикаясь и стараясь выразиться пофигуристее, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исава, казнь Содома и бедствия маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза.

Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву...

За три года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса!» Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили недели две, до самого отъезда. Перед отъездом она упростила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять среди бела дня, на глазах всего честного народа с дочкой актрисой, но он уступил ее просьбам...

– Какие чудные у вас места! – восхищалась она, гуляя. – Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.

«Эти места только место занимают... – думал Андрей Андреич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. – От них корысти, как от козла молока».

А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать...

Андрей Андреич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтоб заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься...

– Помяни, господи, – бормочет он, – усопшую рабу твою блудницу Марию и прости ей вольная и невольная...

Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого: что прочно засело в сознании, того, знать, не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь! Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух, сухорукий Митька о чем-то задумался...

– ...идеже несть болезни, печалей и въздыхания... – гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку.

Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.

1886

Встреча

А зачем у него светящиеся глаза, маленькое ухо, короткая и почти круглая голова, как у самых свирепых хищных животных?

Максимов

Ефрем Денисов тоскливо поглядел кругом на пустынную землю. Его томила жажда, и во всех членах стояла ломота. Конь его, тоже утомленный, распаленный зноем и давно не евший, печально понурил голову. Дорога отлого спускалась вниз по бугру и потом убегала в громадный хвойный лес. Вершины деревьев сливались вдаль с синевой неба, и виден был только ленивый полет птиц да дрожание воздуха, какое бывает в очень жаркие летние дни. Лес громоздился террасами, уходя вдаль всё выше и выше, и казалось, что у этого страшного зеленого чудовища нет конца.

Ехал Ефрем из своего родного села Курской губернии собирать на погоревший храм. В телеге стоял образ Казанской божией матери⁸, пожухлый и полупившийся от дождей и жара, перед ним большая жестяная кружка с вдавленными боками и с такой щелью на крышке, в какую смело мог бы пролезть добрый ржаной пряник. На белой вывеске, прибитой к задку телеги, крупными печатными буквами было написано, что такого-то числа и года в селе Малиновцах «по произволу господы пламенем пожара истребило храм» и что мирской сход с разрешения и благословения надлежащих властей постановил послать «доброхотных желателей» за сбором подаяния на построение храма. Сбоку телеги на перекладинке висел двадцатифунтовый колокол.

Ефрем никак не мог понять, где он находился, а лесная громада, куда исчезала дорога, не обещала ему близкого жилья. Постояв недолго, поправив шлею, он начал осторожно спускаться с бугра. Телега вздрогнула, и колокол издал звук, нарушивший ненадолго мертвую тишину знойного дня.

В лесу ждала Ефрема атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахами хвои, мха и гниющих листьев. Слышен легкий звенящий стон назойливых комаров да глухие шаги самого путника. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, скользят по стволам, по нижним ветвям и небольшими кругами ложатся на темную землю, сплошь покрытую иглами. Кое-где у стволов мелькнет папоротник или жалкая костяника, а то хоть шаром покати.

Ефрем шел сбоку телеги и торопил лошадь. Колокол изредка, когда колеса наезжали на корневище, ползущее змеей через дорогу, жалобно позвякивал, как будто и ему хотелось на покой.

– Здорово, папаша! – услышал вдруг Ефрем резкий крикливый голос. – Путь-дорога!

У самой дороги, положив голову на муравейный холмик, лежал длинноногий мужик лет 30, в ситцевой рубахе и в узких, не мужицких штанах, засунутых в короткие рыжие голенища. Около головы его валялась форменная чиновничья фуражка, полинявшая до такой степени, что только по пятнышку, оставшемуся после кокарды, в можно было угадать ее первоначальный цвет. Лежал мужик непокойно: всё время, пока рассматривал его Ефрем, он дергал то руками, то ногами, точно его донимали комары или беспокоила чесотка. Но ни одежда, ни движения, ничто не было так странно в нем, как его лицо. Ефрем раньше во всю свою жизнь не видал таких лиц. Бледное, жидковолосое, с выдающимся вперед подбородком и с чубом на голове, оно в профиль походило на молодой месяц; нос и уши поражали своей мелкостью, глаза не мигали, глядели неподвижно в одну точку, как у дурачка или удивленного, и, в довершение

⁸ Этой иконе, найденной в 1579 г. под Казанью, приписывались чудодейственные свойства.

странности лица, вся голова казалась сплюснутой с боков, так что затылочная часть черепа выдавалась назад правильным полукругом.

– Православный, – обратился к нему Ефрем, – далече ли тут до деревни?

– Нет, не далече. До села Малого верст пять осталось.

– Беда как пить хочется!

– Как не хотеть! – сказал странный мужик и усмехнулся. – Жарит не приведи бог как!

Жара, почитай, градусов в пятьдесят, а то и больше... Тебя как звать?

– Ефрем, парень...

– Ну, а меня – Кузьма... Чай, слышал, как свахи говорят: я за своего Кузьму кого хочешь возьму.

Кузьма стал одной ногой на колесо, вытянул губы и приложился к образу.

– А далече едешь? – спросил он.

– Далече, православный! Был и в Курском, и в самой Москве был, а теперь поспешаю в Нижний на ярманку⁹.

– На храм собираешь?

– На храм, парень... Царице небесной Казанской... Погорел храм-то!

– Отчего погорел?

Лениво поворачивая языком, Ефрем стал рассказывать, как у них в Малиновцах под самый Ильин день¹⁰ молния ударила в церковь. Мужики и причт, как нарочно, были в поле.

– Ребята, которые остались, завидели дым, хотели было в набат ударить, да, зная, прогневался Илья-пророк, церковь была заперши, и колокольную всю как есть полымем обхватило, так что и не достанешь того набата... Приходим с поля, а церковь, боже мой, так и пышет – подступиться страшно!

Кузьма шел рядом и слушал. Был он трезв, но шел, точно пьяный, размахивая руками, то сбоку телеги, то впереди...

– Ну, а ты как? На жалованье, что ли? – спросил он.

– Какое наше жалованье! За спасенье души ездим, мир послал...

– Так задаром и едешь?

– А кто ж будет платить? Не по своей охоте еду, мир послал, да ведь мир за меня и хлеб уберет, и рожь посеет, и повинности справит... Стало быть, не задаром!

– А живешь чем?

– Христа ради.

– Меринок-то у тебя мирской?

– Мирской...

– Та-ак, братец ты мой... Покурить у тебя нету?

– Не курю, парень.

– А ежели у тебя лошадь издохнет, что тогда делать станешь? На чем поедешь?

– Зачем ей дохнуть? Не надо дохнуть...

– Ну, а ежели... разбойники на тебя нападут?

И болтливый Кузьма спросил еще: куда денутся деньги и лошадь, если сам Ефрем умрет? куда народ будет класть монету, если кружка вдруг окажется полной? что, если у кружки дно провалится, и т. п. А Ефрем, не успевая отвечать, только отдувался и удивленно поглядывал на своего спутника.

– Какая она у тебя пузатая! – болтал Кузьма, толкая кулаком кружку. – Ого, тяжелая! Небось, и серебра пропасть, а? А что, ежели б, скажем, тут одно только серебро было? Послушай, а много собрал за дорогу?

⁹ Нижегородская ярмарка – с 1817 г. место всероссийской торговли.

¹⁰ *Ильин день* – 20 июля (2 августа).

- Не считал, не знаю. Народ и медь кладет, и серебро, а сколько – мне не видать.
- А бумажки кладут?
- Которые поблагородней, господа или купцы, те и бумажки подают.
- Что ж? И бумажки в кружке держишь?
- Не, зачем? Бумажка мягкая, она потрется... На грудях держу...
- А много насбирал бумажками?
- Да рублей с двадцать шесть насбирал.

– 26 целковых! – сказал Кузьма и пожал плечами. – У нас в Качаброве, спроси кого хочешь, строили церкву, так за одни платы было дадено три тыщи – во! Твоих денег и на гвозди не хватит! По нынешнему времю 26 целковых – раз плюнуть!.. Нынче, брат, купишь чай полтора целковых за фунт и пить не станешь... Сейчас вот, гляди, я курю табак... Мне он годится, потому я мужик, простой человек, а ежели какому офицеру или студенту...

Кузьма вдруг всплеснул руками и продолжал улыбаясь:

– С нами в арестантской сидел немец с железной дороги, так тот, братец ты мой, курил цыгары по десяти копеек штука! А-а? По десяти копеек! Ведь этак, дед, гляди, на сто целковых в месяц выкуришь!

Кузьма даже поперхнулся от приятного воспоминания, и неподвижные глаза его замигали.

– А нешто ты был в арестантской? – спросил Ефрем.

– Был, – ответил Кузьма и поглядел на небо. – Второй день, как выпустили. Целый месяц сидел.

Вечер наступал, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. Но вот, наконец, встретился мужик, который сказал, что до Малого осталась одна верста; еще немного – и телега выехала из леса, открылась большая поляна, и перед путниками, точно по волшебству, раскинулась живая, полная света и звуков картина. Телега въехала прямо в стадо коров, овец и спутанных лошадей. За стадом зеленели луга, рожь, ячмень, белела цветущая греча, а там дальше видно было Малое с темной, точно к земле приплюснутой церковью. За селом далеко опять громоздился лес, казавшийся теперь черным.

– Вот и Малое! – сказал Кузьма. – Мужики хорошо живут, но разбойники.

Ефрем снял шапку и зазвонил в колокол. Тотчас же от колодца, который стоял у самого края села, отделились два мужика. Они подошли и приложились к образу. Начались обычные расспросы: куда едешь? откуда?

– Ну, родня, давай божьему человеку пить! – заболтал Кузьма, хлопая по плечу то одного, то другого. – Поворачивайся!

– Какая я тебе родня? По какому случаю?

– Хо-хо-хо! Ваш поп нашему попу двоюродный священник! Твоя баба моего деда из Красного села за чуб вела!

Всё время, пока телега ехала по селу, Кузьма неумоимо болтал и привязывался ко всем встречным. С одного он сорвал шапку, другому ткнул кулаком в живот, третьего потрогал за бороду. Баб называл он милыми, душечками, мамашами, а мужиков, соображаясь с особыми приметам, рыжими, гнедыми, носастыми, кривыми и т. п. Всё это возбуждало самый живой и искренний смех. Скоро у Кузьмы нашлись и знакомые. Послышались возгласы: «А, Кузьма Шкворень! Здравствуй, вешаный! Давно ли из острога вернулся?»

– Эй, вы, подавайте божьему человеку! – болтал Кузьма, размахивая руками. – Поворачивайся! Живо!

И он важно держался, и покрикивал, как будто взял божьего человека под свое покровительство или же был его проводником.

Ефрему отвели для ночлега избу бабки Авдотьи, где обыкновенно останавливались странники и прохожие. Ефрем не спеша отпряг коня и сводил его на водопой к колодцу, где полчаса разговаривал с мужиками, а потом уж пошел на отдых. В избе поджидал его Кузьма.

– А, пришел! – обрадовался странный мужик. – Пойдешь в трактир чай пить?

– Чайку попить... оно бы ничего, – сказал Ефрем, почесываясь, – оно бы ничего, да денег нет, парень. Угостишь нешто?

– Угостишь... А на какие деньги?

Кузьма постоял, разочарованный, в раздумье и сел. Неуклюже поворачиваясь, вздыхая, почесываясь, Ефрем поставил икону и кружку под образами, разделся, разулся, посидел, затем поднялся и переставил кружку на лавку, опять сел и стал есть. Жевал он медленно, как коровы жуют жвачку, громко хлебая воду.

– Бедность наша! – вздохнул Кузьма. – Теперь бы водочки... чайку бы...

Два окошка, выходящих на улицу, слабо пропускали вечерний свет. На деревню легла уже большая тень, избы потемнели; церковь, сливаясь в потемках, росла в ширину и, казалось, уходила в землю... Слабый красный свет, должно быть, отражение вечерней зари, ласково мигал на ее кресте. Поевши, Ефрем долго сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и глядел на окно. О чем он думал? В вечерней тишине, когда видишь перед собой одно только тусклое окно, за которым тихо-тихо замирает природа, когда доносится сиплый лай чужих собак и слабый визг чужой гармоник, трудно не думать о далеком родном гнезде. Кто был странником, кого нужда, неволя или прихоть забрасывали далеко от своих, тот знает, как длинен и томителен бывает деревенский вечер на чужой стороне.

Потом Ефрем долго стоял перед своим образом и молился. Укладываясь на скамье спать, он глубоко вздохнул и проговорил как бы нехотя:

– Несообразный ты... Какой-то ты такой, бог тебя знает...

– А что?

– А то... На настоящего человека не похож... Зубы скалишь, болтаешь непутевое, да вот из арестантской идешь...

– Легко ли дело! В арестантской, бывает, и хорошие господа сидят... Арестантская, брат, это ничего, пустяковое дело, хоть целый год сидеть могу, а вот ежели острог, то беда. Сказать по правде, я уже раза три в остроге сидел, и нет той недели, чтоб меня в волости не драли... Озлобились все, проклятые... Собирается общество в Сибирь сослать¹¹. Уж и приговор такой составили.

– Стало быть, хорош!

– А мне что? И в Сибири люди живут.

– Отец и мать-то у тебя есть?

– Ну их! Живы еще, не поколели...

– А чти отца твоего и мать твою?¹²

– Пушай... Я так понимаю, что они первые мне злодеи и душегубцы. Кто против меня мир натравил? Они да дядька Степан. Больше некому.

– Много ты знаешь, дурак... Мир и без твоего дядьки Степана чувствует, какой ты человек есть. А за что это тебя здешние мужики вешаным зовут?

– А когда я мальчиком был, так наши мужики чуть было меня не убили. Повесили за шею на дерево, проклятые, да, спасибо, ермолинские мужики ехали мимо, отбили...

– Вредный член общества!.. – проговорил Ефрем и вздохнул.

Он повернулся лицом к стенке и скоро захрапел.

¹¹ Сельское общество – хозяйственно-административная единица крестьянского самоуправления; по закону 19 февраля 1861 г. могло выносить приговор об удалении «вредных и порочных» членов.

¹² Пятая из десяти заповедей, переданных, по библейской легенде, Моисею и записанных на скрижалях (Библия. Исход, гл. XX, ст. 12).

Когда он проснулся среди ночи, чтоб поглядеть на лошадь, Кузьмы в избе не было. Около открытой настежь двери стояла белая корова, заглядывала со двора в сени и стучала рогом о косяк. Собаки спали... В воздухе было тихо и спокойно. Где-то далеко, за теньями в ночной тишине, кричал дергач да протяжно всхлипывала сова.

А когда он проснулся в другой раз на рассвете, Кузьма сидел на скамье за столом и о чем-то думал. На его бледном лице застыла пьяная, блаженная улыбка. Какие-то радужные мысли бродили в его приплюснутой голове и возбуждали его; он дышал часто, точно запыхался от ходьбы на гору.

– А, божий человек! – сказал он, заметив пробуждение Ефрема, и ухмыльнулся. – Хочешь белой булки?

– Ты где был? – спросил Ефрем.

– Гы-ы! – засмеялся Кузьма. – Гы-ы!

Раз десять со своею странною, неподвижной улыбкой произнес он это «гы-ы!» и, наконец, затрясся от судорожного смеха.

– Чай... чай пил, – выговорил он сквозь смех. – Во... водку пил!

И он стал рассказывать длинную историю о том, как он в трактире с заезжими фурщиками пил чай и водку; и, рассказывая, вытаскивал из карманов спички, четвертку табаку, баранки...

– Чведские спички! – во! Пшш! – говорил он, сжигая подряд несколько спичек и закуривая папиросу. – Чведские, настоящие! Погляди!

Ефрем зевал и почесывался, но вдруг точно его что-то больно укусило, он вскочил, быстро поднял вверх рубаху и стал ощупывать голую грудь; потом, топчась около скамьи, как медведь, он перебрал и переглядел всё свое тряпье, заглянул под скамью, опять ощупал грудь.

– Деньги пропали! – сказал он.

Полминуты Ефрем стоял не шевелясь и тупо глядел на скамью, потом опять принялся искать.

– Мать пречистая, деньги пропали! Слышишь? – обратился он к Кузьме. – Деньги пропали!

Кузьма внимательно рассматривал рисунок на коробке со спичками и молчал.

– Где деньги? – спросил Ефрем, делая шаг к нему.

– Какие деньги? – небрежно, сквозь зубы процедил Кузьма, не отрывая глаз от коробки.

– А те деньги... эти самые, что у меня на грудях были!..

– Чего пристал? Потерял, так ищи!

– Да где ищи? Где они?

Кузьма поглядел на багровое лицо Ефрема и сам побагровел.

– Какие деньги? – закричал он, вскакивая.

– Деньги! 26 рублей!

– Я их взял, что ли? Пристает, сволочь!

– Да что сволочь! Ты скажи, где деньги?

– А я их брал, твои деньги? Брал? Ты говори: брал? Я тебе, проклятый, покажу такие деньги, что ты отца-мать не узнаешь!

– Ежели ты не брал, зачем же ты харю воротишь? Стало быть, ты взял! Да и то сказать, на какие деньги всю ночь в трактире гулял и табак покупал? Глупый ты человек, несообразный! Нешто ты меня обидел? Ты бога обидел!

– Я... я брал? Когда я брал? – закричал высоким, визжащим голосом Кузьма, размахнулся и ударил кулаком по лицу Ефрема. – Вот тебе! Хочешь, чтоб еще влетело? Я не погляжу, что ты божий человек!

Ефрем только встряхнул головой и, не сказав ни слова, стал обуваться.

– Ишь, жулик! – продолжал кричать Кузьма, всё более возбуждаясь. – Сам пропил, а на людей путаешь, старая собака! Я судиться буду! За наговор ты у меня насидишься в остроге!

– Ты не брал, ну и молчи, – покойно ответил Ефрем.

– На, обыскивай!

– Ежели ты не брал, зачем же мне... тебя обыскивать? Не брал, ну и ладно... Кричать нечего, не перекричишь бога-то...

Ефрем обулся и вышел из избы. Когда он вернулся, Кузьма, всё еще красный, сидел у окна и дрожащими руками закуривал папиросу.

– Старый чёрт, – ворчал он. – Много вас тут ездит, людей морочит. Не на такого наскочил, брат! Меня не обжулишь. Я сам все эти самые дела отлично понимаю. Посылай за старостой!

– Зачем это?

– Протокол составить! Пушай нас в волостном рассудят!

– Нас нечего судить! Не мои деньги, божьи... Ужо бог рассудит.

Ефрем помолился и, взяв кружку и образ, вышел из избы.

Час спустя телега уже въезжала в лес. Малое с приплюснутой церковью, поляна и полосы ржи были уже позади и тонули в легком утреннем тумане. Солнце взошло, но не поднималось еще из-за леса и золотило только края облаков, обращенные к восходу.

Кузьма шел поодаль за телегой. Вид у него был такой, как будто его страшно и незаслуженно оскорбили. Ему очень хотелось говорить, но он молчал и ждал, когда начнет говорить Ефрем.

– Неохота связываться с тобой, а то загудел бы ты у меня, – проговорил он как бы про себя. – Я бы тебе показал, как на людей путать, чёрт лысый...

Прошло в молчании еще с полчаса. Божий человек, молившийся на ходу богу, быстро закрестился, глубоко вздохнул и полез в телегу за хлебом.

– Вот в Телибеево приедем, – начал Кузьма, – там наш мировой живет. Подавай прошение!

– Зря болтаешь. Какая надобность мировому? Нешто его деньги? Деньги божьи. Перед богом ты ответчик.

– Зарядил: божьи! божьи! словно ворона. Такое дело, что ежели я украл, то пушай меня судят, а ежели я не украл, то тебя за наговор.

– Есть мне время по судам ходить!

– Стало быть, тебе денег не жалко?

– Что мне жалеть? Деньги не мои, божьи...

Ефрем говорил неохотно, спокойно, и лицо его было равнодушно и бесстрастно, точно он в самом деле не жалел денег или же забыл о своей потере. Такое равнодушие к потере и к преступлению, видимо, смущало и раздражало Кузьму. Для него оно было непонятно.

Естественно, когда на обиду отвечают хитростью и силой, когда обида влечет за собою борьбу, которая самого обидчика ставит в положение обиженного. Если бы Ефрем поступил по-человечески, то есть обиделся, полез бы драться и жаловаться, если бы мировой присудил в тюрьму или решил: «доказательств нет», Кузьма успокоился бы; но теперь, идя за телегой, он имел вид человека, которому чего-то недостает.

– Я не брал у тебя денег! – сказал он.

– Не брал, ну и ладно.

– Доедем до Телибеева, я кликну старосту. Пушай... он разберет...

– Нечего ему разбирать. Не его деньги. А ты, парень, отстал бы. Иди своей дорогой! Опостылил!

Кузьма долго поглядывал на него искоса, не понимая его, желая разгадать, о чем он думает, какой страшный замысел таится в его душе, и наконец решился заговорить по-иному.

– Эх ты, пава, и посмеяться с тобой нельзя, сейчас и обижаешься... Ну, ну... возьми твои деньги! Я в шутку.

Кузьма достал из кармана несколько рублевых бумажек и подал их Ефрему. Тот не удивился и не обрадовался, а как будто ждал этого, взял деньги и, ни слова не говоря, сунул их в карман.

– Я посмеяться хотел, – продолжал Кузьма, пытливо вглядываясь в его бесстрастное лицо. – Попужать пришла охота. Думал так, попужаю и отдам поутру... Всех денег было 26 целковых, а тут десять, не то девять... Фуршики у меня отняли... Ты не сердчай, дед... Не я пропил, фуршики... Ей-богу!

– Что мне сердчать? Деньги божьи... Не меня ты обидел, а царицу небесную...

– Я, может, только целковый и пропил.

– Мне-то что? Хоть всё возьми да пропей... Целковый ли ты, копейку ли, для бога всё единственно. Один ответ.

– А ты не сердчай, дед. Право, не сердчай. Чего там!

Ефрем молчал. Лицо Кузьмы заморгало и приняло детски-плачущее выражение.

– Прости Христа ради! – сказал он, умоляюще глядя Ефрему в затылок. – Ты, дядя, не обижайся. Я это в шутку.

– Э, пристал! – сказал раздраженно Ефрем. – Говорю тебе: не мои деньги! Проси у бога, чтоб простил, а мое дело сторона!

Кузьма поглядел на образ, на небо, на деревья, как бы ища бога, и выражение ужаса перекосило его лицо. Под влиянием лесной тишины, суровых красок образа и бесстрастия Ефрема, в которых было мало обыденного и человеческого, он почувствовал себя одиноким, беспомощным, брошенным на произвол страшного, гневного бога. Он забежал вперед Ефрема и стал глядеть ему в глаза, как бы желая убедиться, что он не один.

– Прости Христа ради! – сказал он, начиная дрожать всем телом. – Дед, прости!

– Отстань!

Кузьма еще раз быстро оглядел небо, деревья, телегу с образом и повалился в ноги Ефрему. В ужасе он бормотал неясные слова, стучал лбом о землю, хватал старика за ноги и плакал громко, как ребенок.

– Дедушка, родненький! Дяденька! Божий человек!

Ефрем сначала в недоумении пятился и отстранял его от себя руками, но потом и сам стал пугливо поглядывать на небо. Он почувствовал страх и жалость к вору.

– Постой, парень, слушай! – начал он убеждать Кузьму. – Да ты послушай, что я скажу тебе, дураку! Э, ревет, словно баба! Слушай, хочешь, чтоб бог простил, – так, как приедешь к себе в деревню, сейчас к попу ступай... Слышишь?

Ефрем стал объяснять Кузьме, что нужно сделать, чтобы загладить грех: нужно покаяться попу, наложить на себя епитимию, потом собрать и выслать в Малиновцы украденные и пропитые деньги и в предбудущее время вести себя тихо, честно, трезво, по-христиански. Кузьма выслушал его, мало-помалу успокоился и уж, казалось, совсем забыл про свое горе: дразнил Ефрема, болтал... Ни на минуту не умолкая, он рассказывал опять про людей, живущих в свое удовольствие, про арестантскую и немца, про острог, одним словом, про всё то, о чем рассказывал вчера. И он хохотал, всплескивал руками, благоговейно пятился, точно рассказывал что-нибудь новое. Выражался он складно, на манер бывалых людей, с прибаутками и поговорками, но слушать его было тяжело, так как он повторялся, то и дело останавливался, чтобы вспомнить внезапно потерянную мысль, и при этом морщил лоб и кружился на одном месте, размахивая руками. И как он хвастал, как лгал!

В полдень, когда телега остановилась в Телибееве, Кузьма пошел в кабак. Часа два отдыхал Ефрем, а он всё не выходил из кабака. Слышно было, как он бранился там, хвастал, стучал по прилавку и как смеялись над ним пьяные мужики. А когда Ефрем выезжал из Телибеева,

в кабаке начиналась драка, и Кузьма звонким голосом грозил кому-то и кричал, что пошлет за урядником.

1887

На страстной неделе

– Иди, уже звонят. Да смотри, не шали в церкви, а то бог накажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан... Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его пролетки повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.

«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? – думаю я. – Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то бог жалится над ними и пустит их в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его божия мать и Иоанн Богослов¹³. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы¹⁴, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и божия мать с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими.

За свечным шкапом стоит Прокофий Игнатьич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушёпотом какой-то старухе:

– Утренняя будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам ударят¹⁵ в восьмом часу. Поняла? В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары Великомученицы¹⁶, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники... Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми гла-

¹³ *Иоанн Богослов* – автор одного из четырех Евангелий – Евангелия от Иоанна.

¹⁴ В течение страстной недели паникадила (большие люстры, висящие под сводом храма) и ставники (большие подсвечники) завязываются черным крепом в память о страданиях (страстях) Христа.

¹⁵ Зазвонят в маленький колокол перед началом краткого богослужения – «часами».

¹⁶ *Варвара Великомученица* – по преданию, христианка, жившая в III–IV вв.; причислена к лику святых.

зами. Это сын вдовы поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, хватающий с лотков у торговки яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досаую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.

Впереди него стоит роскошно одетая, красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минут, десять... Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь.

В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперсного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шепот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю.

«Чем она грешна? – думаю я, благоговейно посматривая та ее кроткое, красивое лицо. – Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!»

Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью.

– И аз недостойный иерей...¹⁷ – слышится его голос, – властью его, мне данною, прощаю и разрешаю ты от всех грехов твоих...

Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

«Она теперь счастлива, – думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. – Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать».

Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым... Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтенье и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи... Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым...

Раздается голос священника:

– И аз недостойный иерей...

Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналая. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть... Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения.

– Тебя как зовут? – спрашивает священник, покрывая мою голову мягкой епитрахилью.

Как теперь легко, как радостно на душе!

¹⁷ Из «Последования об исповедании» («Требник», в 2 ч. Ч. 1, гл. 7).

Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

– Как тебя зовут? – спрашивает дьякон.

– Федя.

– А по отчеству?

– Не знаю.

– Как зовут твоего папашу?

– Иван Петрович.

– Фамилия?

Я молчу.

– Сколько тебе лет?

– Девятый год.

Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора¹⁸, жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму¹⁹, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол – это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!

– Боже, очисти меня грешного, – молюсь я, укрываясь с головой. – Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаша, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви всё дышит радостью, счастьем и весной; лица богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, всё прошлое предано забвению, всё прощено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

– Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы и если б ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне подолой кулаком.

А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я люблюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться – стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы.

1887

¹⁸ Федя перепутал сведения о героях священной истории. *Ирод* – царь иудейский (см. т. V Сочинений, стр. 666). *Диоскор* – языческий жрец, принявший христианство. За отступничество изжарен на сковороде (в царствование Антонина, 138–161 гг.) в Памфилии, на юге Малой Азии («Жития святых», апрель 21).

¹⁹ Мальчик вспоминает «Житие преподобного Серафима Саровского» (1759–1833), в юности ушедшего в Саровскую пустынь Тамбовской губернии («Жития святых», январь 2).

Перекасти-поле

Путевой набросок

Я возвращался со всенощной. Часы на святогорской колокольне, в виде предисловия, проиграли свою тихую, мелодичную музыку и вслед за этим пробили двенадцать. Большой монастырский двор, расположенный на берегу Донца у подножия Святой Горы и огороженный, как стеною, высокими гостинными корпусами, теперь, в ночное время, когда его освещали только тусклые фонари, огоньки в окнах да звезды, представлял из себя живую кашу, полную движения, звуков и оригинальнейшего беспорядка. Весь он, от края до края, куда только хватало зрение, был густо запружен всякого рода телегами, кибитками, фургонами, арбами, колымагами, около которых толпились темные и белые лошади, рогатые волы, суетились люди, сновали во все стороны черные, длиннополые послушники; по возам, по головам людей и лошадей двигались тени и полосы света, бросаемые из окон, – и всё это в густых сумерках принимало самые причудливые, капризные формы: то поднятые оглобли вытягивались до неба, то на морде лошади показывались огненные глаза, то у послушника вырастали черные крылья... Слышались говор, фырканье и жеванье лошадей, детский писк, скрип. В ворота входили новые толпы и въезжали запоздавшие телеги.

Сосны, которые громоздились на отвесной горе одна над другой и склонялись к крыше гостинного корпуса, глядели во двор, как в глубокую яму, и удивленно прислушивались; в их темной чаше, не умолкая, кричали кукушки и соловьи... Глядя на сумятицу, прислушиваясь к шуму, казалось, что в этой живой каше никто никого не понимает, все чего-то ищут и не находят и что этой массе телег, кибиток и людей едва ли удастся когда-нибудь разъехаться.

К дням Иоанна Богослова и Николая Чудотворца в Святые Горы стеклось более десяти тысяч. Были битком набиты не только гостинные корпуса, но даже пекарня, швальня, столярная, каретная... Те, которые явились к ночи, в ожидании, пока им укажут место для ночлега, как осенние мухи, жались у стен, у колодцев или же в узких коридорчиках гостиницы. Послушники, молодые и старые, находились в непрерывном движении, без отдыха и без надежды на смену. Днем и поздней ночью они одинаково производили впечатление людей, куда-то спешащих и чем-то встревоженных, лица их, несмотря на крайнее изнеможение, одинаково были бодры и приветливы, голос ласков, движения быстры... Каждому приехавшему и пришедшему они должны были найти и указать место для ночлега, дать ему поесть и напиться; кто был глух, бестолков или щедр на вопросы, тому нужно было долго и мучительно объяснять, почему нет пустых номеров, в какие часы бывает служба, где продаются просфоры и т. д. Нужно было бегать, носить, неумолкаемо говорить, но мало того, нужно еще быть любезным, тактичным, стараться, чтобы мариупольские греки, живущие комфортабельнее, чем хохлы, помещались не иначе как с греками, чтобы какая-нибудь бахмутская или лисичанская мещанка, одетая «благородно», не попала в одно помещение с мужиками и не обиделась. То и дело слышались возгласы: «Батюшка, благословите кваску! Благословите сенца!» Или же: «Батюшка, можно мне после исповеди воды напиться?» И послушник должен был выдавать квас, сена или же отвечать: «Обратитесь, матушка, к духовнику. Мы не имеем власти разрешать». Следовал новый вопрос: «А где духовник?» И нужно было объяснять, где келия духовника... При такой хлопотливой деятельности хватало еще времени ходить в церковь на службу, служить на дворянской половине и пространно отвечать на массу праздных и непраздных вопросов, какими любят сыпать интеллигентные богомольцы. Приглядываясь к ним в течение суток, трудно было понять, когда сидят и когда спят эти черные движущиеся фигуры.

Когда я, возвращаясь со всеношной, подошел к корпусу, в котором мне было отведено помещение, на пороге стоял монах-гостинник, а возле него толпилось на ступенях несколько мужчин и женщин в городском платье.

– Господин, – остановил меня гостинник, – будьте добры, позвольте вот этому молодому человеку переночевать в вашем номере! Сделайте милость! Народу много, а мест нет – просто беда!

И он указал на невысокую фигуру в легком пальто и в соломенной шляпе. Я согласился, и мой случайный сожитель отправился за мной. Отпирая у своей двери висячий замочек, я всякий раз, хочешь не хочешь, должен был смотреть на картину, висевшую у самого косяка на уровне моего лица. Эта картина с заглавием «Размышление о смерти» изображала колена-преклоненного монаха, который глядел в гроб и на лежавший в нем скелет; за спиной монаха стоял другой скелет, покрупнее и с косою.

– Кости такие не бывают, – сказал мой сожитель, указывая на то место скелета, где должен быть таз. – Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта, – добавил он и испустил носом протяжный, очень печальный вздох, который должен был показать мне, что я имею дело с человеком, знающим толк в духовной пище.

Пока я искал спички и зажигал свечу, он еще раз вздохнул и сказал:

– В Харькове я несколько раз бывал в анатомическом театре и видел кости. Был даже в мертвецкой. Я не стесняю вас?

Мой номер был мал и тесен, без стола и стульев, весь занятый комодом у окна, печью и двумя деревянными диванчиками, стоявшими у стен друг против друга и отделенными узким проходом. На диванчиках лежали тощие, порыжевшие матрасики и мои вещи. Диванов было два, – значит, номер предназначался для двоих, на что я и указал сожителю.

– Впрочем, скоро зазвонят к обедне, – сказал он, – и мне недолго придется стеснять вас.

Всё еще думая, что он меня стесняет, и чувствуя неловкость, он виноватою походкою пробрался к своему диванчику, виновато вздохнул и сел. Когда сальная свечка, кивая своим ленивым и тусклым огнем, достаточно разгорелась и осветила нас обоих, я мог уже разглядеть его. Это был молодой человек лет двадцати двух, круглолицый, миловидный, с темными детскими глазами, одетый по-городски во всё серенькое и дешевое и, как можно было судить по цвету лица и по узким плечам, не знавший физического труда. Типа он казался самого неопределенного. Его нельзя было принять ни за студента, ни за торгового человека, ни тем паче за рабочего, а глядя на миловидное лицо и детские, ласковые глаза, не хотелось думать, что это один из тех праздношатаев-пройдох, которыми во всех общежительных пустынях, где кормят и дают ночлег, хоть пруд пруди и которые выдают себя за семинаристов, исключенных за правду, или за бывших певчих, потерявших голос... Было в его лице что-то характерное, типичное, очень знакомое, но что именно – я никак не мог ни понять, ни вспомнить.

Он долго молчал и о чем-то думал. Вероятно, после того, как я не оценил его замечания насчет костей и мертвецкой, ему казалось, что я сердит и не рад его присутствию. Вытащив из кармана колбасу, он повертел ее перед глазами и сказал нерешительно:

– Извините, я вас побеспокою... У вас нет ножика?

Я дал ему нож.

– Колбаса отвратительная, – поморщился он, отрезывая себе кусочек. – В здешней лавочке продают дрянь, но дерут ужасно... Я бы вам одолжил кусочек, но вы едва ли согласитесь кушать. Хотите?

В его «одолжил» и «кушать» слышалось тоже что-то типичное, имевшее очень много общего с характерным в лице, но что именно, я всё еще не мог никак понять. Чтобы внушить к себе доверие и показать, что я вовсе не сержусь, я взял предложенный им кусочек. Колбаса действительно была ужасная; чтобы сладить с ней, нужно было иметь зубы хорошей цепной

собаки. Работая челюстями, мы разговорились. Начали с того, что пожаловались друг другу на продолжительность службы.

– Здешний устав приближается к афонскому, – сказал я, – но на Афоне обыкновенная всенощная продолжается 10 часов, а под большие праздники – 14. Вот там бы вам помолиться!

– Да! – сказал мой сожитель и покрутил головой. – Я здесь три недели живу. И знаете ли, каждый день служба, каждый день служба... В будни в 12 часов звонят к заутрени, в 5 часов к ранней обедне, в 9 – к поздней. Спать совсем невозможно. Днем же акафисты, правила, вечерни... А когда я говел, так просто падал от утомления. – Он вздохнул и продолжал: – А не ходить в церковь неловко... Дают монахи номер, кормят, и как-то, знаете ли, совестно не ходить. Оно ничего, день, два, пожалуй, можно постоять, но три недели тяжело! Очень тяжело! Вы надолго сюда?

– Завтра вечером уезжаю.

– А я еще две недели проживу.

– Но здесь, кажется, не принято так долго жить? – сказал я.

– Да, это верно, кто здесь долго живет и объедает монахов, того просят уехать. Судите сами, если позволить пролетариям жить здесь сколько им угодно, то не останется ни одного свободного номера, и они весь монастырь съедят. Это верно. Но для меня монахи делают исключение и, надеюсь, еще не скоро меня отсюда прогонят. Я, знаете ли, новообращенный.

– То есть?

– Я еврей, выкрест... Недавно принял православие.

Теперь я уже понял то, чего раньше никак не мог понять на его лице: и толстые губы, и манеру во время разговора приподнимать правый угол рта и правую бровь, и тот особенный маслянистый блеск глаз, который присущ одним только семитам, понял я и «одолжил», и «кушать»... Из дальнейшего разговора я узнал, что его зовут Александром Иванычем, а раньше звали Исааком, что он уроженец Могилевской губернии и в Святые Горы попал из Новочеркасска, где принимал православие.

Одолев колбасу, Александр Иваныч встал и, приподняв правую бровь, помолился на образ. Бровь так и осталась приподнятой, когда он затем опять сел на диванчик и стал рассказывать мне вкратце свою длинную биографию.

– С самого раннего детства я питал любовь к учению, – начал он таким тоном, как будто говорил не о себе, а о каком-то умершем великом человеке. – Мои родители – бедные евреи, занимаются грошовой торговлей, живут, знаете ли, по-нищенски, грязно. Вообще весь народ там бедный и суеверный, учения не любят, потому что образование, понятно, отдаляет человека от религии... Фанатики страшные... Мои родители ни за что не хотели учить меня, а хотели, чтобы я тоже занимался торговлей и не знал ничего, кроме талмуда... Но всю жизнь биться из-за куса хлеба, болтаясь в грязи, жевать этот талмуд, согласитесь, не всякий может. Бывало, в корчму к папаше заезжали офицеры и помещики, которые рассказывали много такого, чего я тогда и во сне не видел, ну, конечно, было соблазнительно и разбирала зависть. Я плакал и просил, чтобы меня отдали в школу, а меня выучили читать по-еврейски и больше ничего. Раз я нашел русскую газету, принес ее домой, чтобы из нее сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по-русски. Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережет свою народность, но я тогда этого не знал и очень возмущался...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.